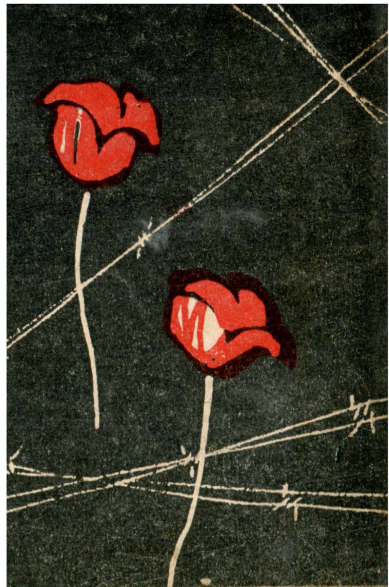




ВАСИЛЬ БЫКОВ

Альпийская
баллада

**СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА
1964**





**Фронтовая
страница**

Глава первая

На заросшие бурьяном межи, неровный бруствер окопа и одинокую пушку из затуманенной выси сыпался снег. Студеный северный ветер своевластно буйствовал в неубранном кукурузном поле, теребил и рвал мерзлые изломанные стебли, наполняя простор унылым завыванием вьюги.

Снег пошел под вечер, когда на огромном равнинном просторе утих грохот боя и немногие из уцелевших частей отошли на восток. Теперь тут было тихо, лишь смрадно чадили догоравшие танки, валялись передки пушек, повозки, убитые лошади и везде трупы, трупы... Немецкие танки, прорвав оборону, глухо ревели в снежной дали, быстро унося с собой многоголосое громыхание боя. Грохот его, однако, уже утихал, стрельба отдалилась, лишь изредка самый сильный или самый близкий взрывы сотрясали землю. Мелкие комья с бруствера катились тогда в окоп и приглушенно стучали по одувшей плащ-палатке, под которой лежал командир этого орудия сержант Скварышев. Он был убит утром во время первой атаки, и, как только немного утихло, ефрейтор Кеклидзе, сняв с себя плащ-палатку, накрыл командира. Через какой-нибудь час надо было накрывать и самого Кеклидзе, но сделать это уже было нечем и некогда — все они отбивали новую атаку, затем следующую. Так присыпанный снегом ефрейтор и остался до вечера в измятой кукурузе, среди разбросанных гильз и пустых снарядных ящиков.

Его надо было похоронить, чтобы враг не надругался над трупом, но у Тимошкина уже не хватало силы встать с бруствера и дойти до убитого, так измотал его этот тяжелый день. Болела раненая рука, хотелось положить ее поудобнее и не двигать, — казалось, это уменьшит боль. Сначала, когда осколок немецкой мины полоснул по ладони, Тимошкин не почувствовал особенной боли; не очень донимала она и после того, как наводчик Щербак двумя индивидуальными пакетами перевязал рану. В то время немецкие танки подошли к самым посадкам — в двухстах метрах от огневой позиции, и сорокапятчики стреляли по ним подкалиберными. Потом танки все же прорвались к фольварку, в тылы полка, пехота отступила, и артиллеристы остались одни. Бросить пушку они не имели права, а вывезти ее было нельзя — обе их трофейные лошади оказались убитыми. Эту печальную новость им принес только что вылезший из кукурузы ездовой Здобудька. Низко опустив голову, он виновато стоял теперь между станин, в своей короткой, обожженной внизу шинели, и, отвернувшись от ветра, молчал. Напротив, прислонясь к щиту пушки, зло глядел на него наводчик Щербак.

Звуки боя тем временем все отдалялись, взрывы редели, уже надо было вслушиваться, чтобы сквозь ветер уловить треск пулеметных очередей, которые полчаса назад неистовым грохотом оглушали простор. Немецкой пехоты, видимо, прорвалось немного, и теперь тут, на поле боя, не слышно было никого. Будь у артиллеристов хоть какое-нибудь тягло, они, возможно, смогли бы спасти пушку и

себя. Но лошадей не было, и виновником своей новой беды бойцы считали Здобудьку.

— Чертов недотепа, — злился Щербак, засовывая в карманы ватных штанов свои большие озябшие руки. — Запрячь бы теперь самого в лушку да врезать кнутом по боку!

Они ругали ездового за то, что погибли их лошади, хотя — сами понимали — не велика была в том вина пожилого солдата Здобудьки. Много ли можно спросить с призывника, который всего две недели назад пришел в батарею и только еще начал осваиваться на войне, как случилось это несчастье. Разве можно было сбересть лошадей, когда гибли роты и батальоны, когда немецкие танки шквальным огнем уничтожали все живое в окопах, на огневых позициях, в траншеях, кукурузе.

Прижимая к груди раненую руку, Тимошкин тупо глядел на орудие. Усталость и какое-то внутреннее оцепенение свинцовой тяжестью сковывали тело, которое жаждало теперь только покоя, а мысли напрасно метались в голове в поисках выхода. И все же надо было что-то делать, как-то искать спасения.

Щербак тем временем молча и зло топтался возле пушки.

Это была маленькая сорокапятка, которой не меньше, чем людям, перепало за сегодняшний день. В стальном щите ее зияли две рваные пробоины от крупнокалиберных пуль, правый закрылок был косо обрублен, наверно большим осколком, на колесах висели клочья резины. Казенник так накалился от выстрелов, что и теперь еще был

теплым, и снежинки, оседая на нем, сразу же превращались в капли воды.

Тревожно шелестело на ветру кукурузное поле, в недобром предчувствии хмурилось небо — надвигалась холодная вьюжная ночь. Широко расставив ноги, запорошенный снегом, в ватнике и сдвинутой на ухо шапке, Щербак озабоченно стоял возле щита. Конечно, ему жаль было этой пушечки, с которой они прошли от Днестра до Балатона и которая не раз спасала им жизнь и выручала пехоту. Под Кишиневом, когда немцы прорывались из окружения, какой-то гитлеровец метнул в нее противотанковую гранату. К счастью, он промахнулся, граната перелетела через щит и, разорвавшись сзади, перебила только станину. В артмастерской на станину наварили стальную латку, и хлопцы говорили, что это счастливый знак, с которым пушка наверняка доживет до мира. Потом, уже в Венгрии, бронетранспортер пометил ее щит косою пулевой вмятиной. Неделю назад очередью из «мессершмитта» пробило сошник, тогда же ранило и правильного Нерчика. Люди в расчете постепенно менялись — раненых отправляли в госпитали, убитых хоронили. Дольше всех оставался в строю молчаливый сержант Скварышев. Но вот сегодня не стало Скварышева, и, кажется, пришел конец и орудию.

Хорошо, если бы нашлась противотанковая граната или хотя бы один снаряд. В таких случаях стоило всыпать в канал горсть песка и выстрелить, как ствол разорвало бы на куски. Но снаряда у них не было. Щербак перекидал все ящики, переворочил сапогом в снегу звонкие, пустые, источав-

шие пороховой смрад гильзы и ничего не нашел. Оставалось одно — вынуть клин. Поковырявшись в затворе, Щербак сделал это и крикнул Здобудьке:

— Снимай мешок.

Не спрашивая зачем, ездовой снял из-за спины свой вещевой мешок, развязал лямки, и наводчик бросил в него полупудовый клин и прицел.

— О, то тяжко! Як же нисти цэ? — недовольно заворчал Здобудька.

Щербак решительно оборвал его:

— Не ной! Сам понесу.

Он отставил мешок в сторону, сдвинув шапку, почесал затылок, огляделся, затем вынул из сапога финку и пошел в кукурузу. Здобудька неохотно поплелся следом.

Они долго бродили по истоптанному кукурузному полю, пока наломали по охалке стеблей, принесли, бросили их меж станин и снова пошли уже дальше, где кукуруза была гуще. Тимошкин по-прежнему сидел на бруствере, держа возле груди свою спеленатую, как кукла, руку, и ждал. Молчание и однообразный шум ветра нагоняли тоску, и в голове парня проносились вереницы невеселых, беспорядочных мыслей.

Еще вчера они жили тут, как можно до поры до времени жить на войне,— изредка стреляли по немцам, подолгу сидели в узком окопчике-ровике, ждали вечера, когда старшина приносил ужин, мерзли и много курили. Ночью, выставив часового, спали, тесно прижавшись друг к другу. В спокойную минуту заряжающий Кеклидзе, как о потерянном рае, вспоминал далекую Грузию, шашлык, вино и своих близнецов-ребят. Командир Скварышев

чаще всего молчал. Немало знал и о многом мог бы рассказать этот умный, образованный москвич. И вот не стало уже Скварышева, засыпает снегом Кеклидзе, утром отправили в госпиталь Румкина, разгромлен полк, неизвестно, что стало со всей их дивизией... Как теперь выбираться из этой западни, как пробиться к своим? И почему все тише и реже разрывы? Может, немцы уже прорвались к Дунаю?

Заметно темнело. Снежная крупа все сыпалась и сыпалась с затянутого пепельным мраком низкого неба. Быстро исчезали под снегом трупы, черные пятна воронок; равнинный простор поглощали ночные сумерки, лишь впереди тускло серели искаленные деревья посадок. Не стало видно и долговязого немца, которого во время атаки почти у самой огневой застрелил из автомата Щербак. Запрокинув волосатую голову, немец с полудня удивленно смотрел на них остановившимся взглядом. Теперь и его укрыл снег.

Вдруг в кукурузе, приглушенный непогодой, прозвучал одиночный выстрел. Тимошкин вздрогнул, насторожился и потянулся рукой к лежащему у ног автомату. Но тишина больше не нарушалась, и вскоре на снегу с охапкой стеблей в руках появился Щербак.

— Кто стрелял? — тревожно спросил Тимошкин.

Наводчик дотащил свою ношу, вскинул ее на пушку и отряхнул ватник.

— Связиста прикончил. Раненого.

— Ну зачем? Может, выжил бы?

— Выжил? Кишки все вывалились...

Тимошкин с минуту вслушивался в ночь, затем опустил на бруствер. Спорить с Иваном он не хо-

тел, потому что знал, как трудно было в чем-либо переубедить его. Иногда командиры ругали наводчика за самоуправство, иногда наказывали, но он всегда поступал по-своему, и зачастую получалось, что был прав.

Забросав кукурузой пушку, Щербак позвал Здобудьку и пошел к снарядным ящикам. Там, подхватив под руки тело Кеклидзе, он остановился, выжидая, пока ездовой возьмется за ноги убитого.

— А ну, смелей. Не укусит! — зло прикрикнул наводчик.

Спотыкаясь о комья бруствера, они понесли Кеклидзе к окопчику, где лежал Скварышев. В это время поодаль, в кукурузе, мелькнуло тусклое пятно фонарика. Тимошкин предостерегающе шикнул — ребята притаились. Стало тревожно и тихо. Вскоре на краю кукурузного поля появилось несколько теней, у их ног на снегу шевелилось пятнышко света. Где-то там проходила траншея, и они осматривали ее, пока не исчезли в снежной метели. Конечно, это были немцы.

Щербак вполголоса выругался. Здобудька опасно поднялся с земли и уже решительнее, чем в первый раз, взялся за ноги убитого. Тимошкин тоже встал с бруствера. Втроем они поднесли тяжелое тело Кеклидзе к ровику, где лежал Скварышев. Щербак, обрушивая сапогами землю и придерживая покойника за руки, начал опускать его в черную яму. Здобудька помогал ему, а Тимошкин, стоя над могилой, не мог проглотить застрявший в горле комок.

— Пошли, того принесем, — сказал Щербак, выпрямляясь. — Закопаем вместе.

Вдвоем со Здобудькой они побежали куда-то и вскоре принесли из кукурузы еще одно тело, которое, устало дыша, взвалили на бруствер. Это был здоровенный усатый боец, согнутые руки которого уже не разгибались и неуклюже торчали локтями в стороны. Полы его иссеченной осколками шинели широко распластались на снегу.

Тяжело дыша, Щербак сел рядом с убитым. Снег становился все гуще и быстро засыпал усы солдата, его мертвое небритое лицо.

— Закурить нет? — спросил наводчик.

— У Кеклидзе должно быть, — сказал Тимошкин, вспомнив, как утром ребята закуривали у ефрейтора.

Щербак, опершись на руки, спрыгнул в ровик, а Тимошкин обессиленно опустился возле убитого, уже не чувствуя того, что обычно ощущают здоровые люди рядом с покойником. Ездовой, видно еще не до конца преодолев в себе страх перед мертвецом, насупившись, стоял напротив. Наводчик, с минуту повозившись в ровике, вылез, держа в руках масленку с двумя горлышками, в которой бойцы носили махорку.

Укрываясь от ветра, Щербак свернул сигарку и из-под полы прикурил. Потом заметно притих, осел на бруствере и, будто подбрав, выдыхая табачный дым, сказал:

— Ну вот и все. Конец. Когда-то на формировке вместе патрулировали, — кивнул он в сторону убитого. — Веселый был дядька. Все про баб рассказывал...

Тимошкин, разбитый и подавленный, молча сидел рядом, глядя и не видя, как докуривал Щербак, как потом они со Здобудькой опускали в последнее пристанище убитого и искали под снегом лопаты.

И только когда в могиле-ровике зашуршала о палатку земля, боец, будто очнувшись, понял, что настало прощание. Они сделали все, что могли,— для живых, отступивших на восток, и для мертвых, навсегда оставшихся тут, в чужой стороне. Не было на этих поспешных ночных похоронах ни громких салютов, ни красивых слов о погибших, только, как всегда, тупая боль сжала сердце. У Тимошкина повлажнели ресницы, и хорошо, что настала ночь и не надо было отворачиваться, чтобы скрыть от других эту невольную солдатскую слабость...

Глава вторая

Одинокие и ничем больше не связанные с тем клочком земли, на котором они две недели жили и бились с врагом, бойцы пошли на восток.

Они долго брели кукурузой, продираясь сквозь ее неподатливые, густые заросли. Было холодно, темно и ветрено. Сыпал снег. Шуршала сухая кукурузная листва, и в этом неумолчном шорохе трудно было что-либо услышать. Казалось, все вокруг по-ночному притихло, затаилось, поникло. Щербак своим могучим телом решительно раздвигал тугие намерзшие стебли, за ним, оберегая здоровой рукой раненую, пробирался Тимошкин. Он никак не мог успокоиться, то ли оттого, что произо-

шло: сегодня, то ли от раны или еще отчего, его все время знобило, он дрожал. Последним уныло тащился Здобудька.

Горько это было и обидно — после стольких побед и удач переживать несчастье разгрома и втроем пробираться ночью по чужой земле, остерегаясь каждого шороха и каждой тени. Хорошо еще, что в такой беде рядом надежный товарищ, с которым связывает тебя нечто большее, чем просто полковое знакомство. В этом смысле Тимошкина немного успокаивало присутствие Ивана Щербака. Пока наводчик был рядом, боец мог справиться с любой бедой, без страха пошел бы с ним хоть на край света.

Когда-то, еще в Молдавии, Тимошкин пришел в этот полк из запасного, где его месяца два учили на автоматчика, и потому в артиллерии он разбирался слабо. И вот случилось так, что по какому-то недосмотру штабистов боец попал в команду, из которой пополняли артиллерийские батареи дивизии. Командир батареи, принимавший их, узнав, что Тимошкин не артиллерист, приказал вернуть его на сборный пункт. Накануне бойцы совершили большой марш, направляясь к фронту; Тимошкин при своем далеко не богатырском росте и очень ограниченной выносливости окончательно выбился из сил и выглядел, конечно, неважно. И тогда ефрейтор Щербак, который должен был со старшиной сопроводить пополнение в полк, попросил у комбата разрешения не отправлять Тимошкина обратно. Неизвестно, как ему удалось уговорить капитана, но через несколько дней они оказались в одном расчете, Щербак понемногу научил его

артиллерийскому делу, постепенно они как-то сблизились, хотя характерами были разные, и стали друзьями. Каждый день они плечом к плечу стояли у пушки, сгибались в окопе во время бомбежки, вместе мерзли ночами, согревая один другого собственным теплом. Щербак был молчалив, сдержан, порою слишком упрям, но всегда справедлив. И еще он был смелым. У Тимошкина не было ни одной медали, а Щербак уже имел ордена Славы и Красной Звезды.

Наконец кукуруза кончилась, и наводчик первым вылез на сумеречный, тускло белевший простор. Снежная крупа все сыпалась на раскинувшееся впереди голое поле, посреди которого они увидели неподалеку одинокую человеческую фигуру. Быстрым шагом человек направлялся куда-то вдоль кукурузы, очевидно в ту сторону, куда шли ж.д.ни. Замедлив шаг и всмотревшись, Щербак негромко окликнул его:

— Эй!

Словно споткнувшись, неизвестный остановился, оглянулся, но, видно не заметив их, торопливо зашагал в прежнем направлении.

— Стой! — громко крикнул Щербак, и человек остановился.

По присыпанному снегом жнивью они пошли к незнакомцу. Тот настороженно ждал, прижимая к груди автомат, взятый на изготовку. Но вот стала видна его перетянутая в талии шинель, затем шапка-ушанка, которая окончательно убедила, что это не немец. Щербак, идя впереди, спокойно забросил на плечо автомат, Тимошкин и Здобудька всматривались в еще неясную в сумер-

как фигуру. Человек, застыв на месте, тревожно ждал.

— О, гляди — земляк твой! — оглянувшись, сказал Щербак.

Подойдя ближе, Тимошкин действительно узнал своего земляка, писаря полкового штаба сержанта Блищинского. Давно уже, наверное от самой дунайской переправы, они не виделись, хотя и служили в одном полку. Правда, в этом не было ничего особенного — различными были их обязанности, и потому не очень часто сходились их стежки. Один нес службу при штабе, а второй все время был на передовой, копал окопы да таскал пушку.

Блищинский тоже узнал Щербака и Тимошкина и, кажется, недовольный тем, что его задержали, сказал:

— Давайте быстрее! А то немцы.

Они оглянулись — действительно, надо было спешить, от поля недавнего боя они отошли совсем недалеко. В стороне, где осталась их пушка, проворчала машина и послышались чьи-то приглушенные голоса. Хорошо, что снегопад надежно укрывал бойцов от чужих глаз.

Щербак, не останавливаясь, подался вперед, а Тимошкин с Блищинским пошли рядом. Было ветрено и не по-фронтовому тихо, только шуршала в стороне кукуруза да впереди, где-то далеко, еле слышно изредка грохотали взрывы. Блищинский шагал быстро, загребая сапогами мягкий снег, и, поглядывая по сторонам, говорил:

— Что, земляк, влопались? Опростоволосились! Ну, с кого-то погоны снимут. Такое нельзя прощать.

— С кого же снимать? — сказал Тимошкин. — С тех, что в снегу остались?

Не сбавляя шага, Блищинский сбоку глянул на земляка:

— Я не о тех. Бери повыше. Тех, что прошляпили все это...

— Сила! Что сделаешь?

— Сила! А у нас не сила? Вон от Волги до Будапешта дошли. Тут дело не в силе. Просто проспал кто-то. Артиллерии-то мало оказалось. Одна полковая не много сделает. А ведь теперь придется опять отвоевывать. То же самое.

— Да, это так.

— Ну вот. Повторным заходом. Кровь проливать. А кровь-то не казенная.

Чувствуя неоспоримую правоту этих слов, Тимошкин только вздыхал.

— Вот из расчета втроем остались, — сообщил он земляку. — Двое убиты. Остальные ранены.

— Что, прямое попадание?

— Нет. Прямого не было. Так, осколками, — превозмогая боль, говорил Тимошкин.

Блищинский, идя впереди, удивленно оглянулся:

— А пушку что ж — бросили?

— Кукурузой закидали. Взорвать было нечем. Щербак вон в вещмешке клин несет.

Блищинский, не сбавляя шага, огляделся.

— Вот как! Плохо ваше дело.

— А что? — не понял Тимошкин.

— Спрашиваешь! Разве не знаешь? За оставление техники — трибунал!

У Тимошкина что-то словно оборвалось внутри. Он вдруг удивился, как все это не пришло ему в голову раньше,— ведь в самом деле, из-за пушки могут произойти неприятности. Но чтобы как-то скрыть свое замешательство, боец грубовато спросил о другом:

— А ты почему это так.. задержался?

— Я? Майора Андреева тащил. Раненого. На руках умер. Вот сумку снял.— Блищинский хлопнул по кожаной сумке, которая на длинном ремешке болталась у колен.— Потому и задержался.

Щербак, безразличный к их разговору, быстро шагал впереди, а у Тимошкина после сказанного Блищинским зашевелилась в душе глухая вражда к писарю. Он сам еще не понимал, почему так,— ведь земляк говорил правду, да и сам Тимошкин хорошо понимал все это. И тем не менее ему стало обидно и горько от этих напоминаний, как он смутно чувствовал, именно потому, что они исходили от Блищинского — его земляка, хорошо знакомого ему человека. Правда, писарь, кажется, был равнодушен к их делам и замолчал, озабоченный собственной бедой. Он шагал широко и топорливо. И Тимошкин стал постепенно отставать, так как ослабел и уже не хотел идти рядом. Боец давно знал, что люди они разные и вряд ли удастся им когда-нибудь сблизиться, как сближаются друзья. Сзади споро топал низенький Здобудька, приклад его винтовки на длинном ремне почти касался земли. Ездовой вскоре нагнал Тимошкина, и они пошли рядом.

Неприятное и противоречивое чувство разбередило и без того растревоженную душу Тимошкина.

К Щербаку и Здобудьке боец уже привык, он видел их возле себя и в плохую и в хорошую минуты и знал, на что каждый из них способен. Блищинский же был человек иной, случайный в такой беде, к нему надо было присмотреться и держать себя настороже. Правда, Тимошкин знал его с детства, еще мальчишками они обегали все деревенские стежки, облазили все лесные чащобы. Но именно оттуда, с детства, и зародилась у Тимошкина неприязнь к нему. Сколько потом, в армиях им ни приходилось встречаться, Тимошкин никогда не чувствовал той искренней и светлой радости, которая охватывает каждого при встрече с земляком на войне.

С низкого, осевшего почти на самую землю неба косо сыпался снег, студил лицо резкий ветер, по-прежнему ноющая боль в пробитой ладони дожимала Тимошкина. Он все больше отставал, а Блищинский, не оглядываясь, торопливо шагал и шагал, пока не догнал Щербака. Так они и пошли впереди: Иван — развалистой широкой походкой здоровяка, Блищинский — по-утиному переваливаясь с ноги на ногу, в перешитой офицерской шинели, с сумкой на боку. Крепкие и здоровые, они изредка переговаривались, Блищинский, кажется, начал в чем-то убеждать Щербака, показывая рукой в сторону от того направления, куда они шли. Тимошкин знал, что он не доверится Ивану и будет пытаться сам командовать, распоряжаться — всем навязывать свою волю. Блищинский с детства привык верховодить, стараясь опережать других, если это было выгодно ему, и подстраиваться к тем, кто был сильнее. Теперь он быстро определил, что

из троих в этом поле значительнее всех Щербак, что он тверже и, паверное, смелее остальных, и потому и начал искать сближения с этим молчаливым парнем. Тимошкина он уже не принимал в расчет, ибо тот хотя и земляк, но был слабоват, моложе, ранен и для него, сержанта, мало что значил.

Спустя какое-то время, боязливо оглядываясь, прошел вперед и Здобудька. Тимошкин теперь шагал последним. Он устал, все больше отставал, и обида, как боль, тихонько точила его изнутри.

Бывает же так в жизни, и особенно, пожалуй, на войне, что чужой, незнакомый человек станет тебе роднее родного, а старый знакомый по какой-то причине утратит все свои привлекательные качества. Тимошкин очень хорошо понял это за долгое время своего знакомства с Блищинским и полгода фронтовой дружбы с Иваном. Нет, сейчас он не обижался на наводчика и ни за что не сказал бы ему о своих переживаниях: он знал, что Щербак никогда не оставит его в беде, поможет, а если ранят — вынесет. Но, оставшись сзади, один, он все сильнее чувствовал, как от обиды щемит внутри, и все потому только, что в спутники к другу навязался вот этот Блищинский.

Как ни старался Тимошкин шагать быстрее, он все же отставал, а те двое, занятые разговором, кажется, и не замечали этого. Правда, он понимал, что идти надо быстро, иначе, если они не выберутся до рассвета, завтра им придется туго. Однако от этого сознания ему не было легче. В нем росло какое-то непонятно-тревожное чувство, и казалось, что принес его с собой писарь Блищинский.

Часто случается на войне, что гибнет самый хороший, самый смелый и всеми любимый парень, а какого-нибудь задиру, себялюбца или подлеца не берет ни болезнь, ни пуля. Так случилось и с друзьями Тимошкина. Много их было — скромных и славных его земляков, с которыми провоевал он два партизанских года, но вот на пороге заветного освобождения один за другим погибли лучшие его товарищи. А Блищинский выжил. В то время он тоже был с ними в лесу, и нельзя сказать, чтобы прятался — скрываться там было негде, — просто ему везло. И потом, уже в армии, Тимошкина со многими, может быть, навсегда разлучила безжалостная военная судьба, а с этим пришлось служить в одном полку и теперь вот очутиться рядом.

Тимошкин не сразу раскусил его, когда-то думал: может, ему только кажется, что Блищинский плут, а на деле он, может, и ничего себе парень? Нескладно это устроено в жизни, что и плохое и хорошее познается дорогою ценой, через боль неудач и ошибок. Некогда они жили в одной деревне. Хаты их не то чтобы стояли рядом, ровесниками они тоже не были (когда Тимошкин пошел в первый класс, Блищинский учился в четвертом), но в их деревушке ребятишек было не много, и друзей выбирать не приходилось. Поэтому с раннего детства Володя с Гришкой вынуждены были играть вместе, вместе летом бродили по лесу, а зимой за три километра ходили в школу.

Кроме как о себе, Блищинский ни о ком никогда не думал. Тимошкин был нужен ему, чтобы помогать пасти гусей, присматривать за кротовыми норами, в которые они ставили ловушки; чтобы во-

ровать у отца табак — Гришка тогда уже начинал украдкой курить. Отец его в семье мало что значил, в доме всем распоряжалась мать — упрямая, сварливая женщина, которая замуштровала всех — и мужа, и троих дочерей, и только Гришка, благодаря своей хитрости, не поддался ей. Эта приобретенная с детства изворотливость и себялюбие на всю жизнь стали его отличительным качеством.

Володя во всем тянулся за Гришкой и старался, чем мог, угодить товарищу. Тот же, заметно было, не очень дорожил их дружбой и причинял немало обид Тимошкину. Самый последний и самый памятный случай и теперь еще глеет в душе Тимошкина незатухающей неприязнью к земляку.

...Это произошло в одну из далеких довоенных зим. Тимошкин учился тогда в шестом классе, Гришка — в девятом. Учился Блищинский отлично, считался активистом, был членом учкома и незадолго перед тем вступил в комсомол. На собраниях и митингах он часто выступал от «имени школьников» и складно читал по бумажке заранее составленные речи. Среди его друзей в то время появились парни постарше, с ними он сблизился больше, и их дружба с Тимошкиным едва теплилась. Тимошкин понимал, что становился ненужным ему, и не очень-то набивался в приятели, но в школу они ходили все-таки вместе. Обычно Тимошкин заходил к нему утром, ждал, пока Гришка оденется, позавтракает, и потом напрямик, через замерзшее болото они отправлялись в местечко.

Однажды, уже перейдя болото, ребята выбрались на укатанную санями дорогу и неторопливо

подходили к местечку. Вдруг возле одинокой придорожной вербы Тимошкин увидел в колее кошелек (перед тем их обогнали две пары саней с незнакомыми людьми, ехавшими, очевидно, на базар). Находка, конечно, заинтересовала ребят, Гришка сразу выхватил кошелек у товарища и начал потрошить его. Там оказался паспорт, какие-то бумаги, пятьдесят рублей денег. На ходу просмотрев все это, Гришка сунул кошелек в карман. Тимошкин сказал, что надо отнести его в милицию или отдать в учительскую, но Гришка только рассмеялся и хлопнул товарища по спине. На большой перемене он кивком головы вызвал Тимошкина из класса и повел в магазин. Там Гришка купил конфет, папирос, сунул младшему другу пятерку и сказал, что документы из кошелька надо сжечь. Тимошкин долго не мог решиться на это, — он боялся и ненавидел себя и Гришку, но хитроватая самоуверенность Блищинского сбивала его с толку. Тимошкин все же запротестовал, они поссорились и в конце концов договорились, что кошелек, документы и деньги сдадут в милицию.

Гришка, однако, сделал иначе. На следующий день он снова встретил Тимошкина и сказал, что отнес в милицию только кошелек и паспорт. Тимошкин струхнул, а Блищинский, смеясь, заверил парня, что все будет в порядке, надо только молчать о деньгах.

И вот через день-два, перед самым звонком на урок, в школьном коридоре появился какой-то дядька в тулупе, директор, классный руководитель. Все они направились в девятый «Б», где учился Блищинский. У Тимошкина от страха екнуло серд-

це — неужели узнали? Он хотел было убежать, но, прежде чем сделал это, сквозь открытую дверь услышал, как дядька благодарил Гришку. Оказывается, дядька махнул рукой на деньги (черт с ними, пятьюдесятью рублями! — ему дороже были документы) и в виде вознаграждения за «благородный» поступок он дал Гришке червонец. Потом об этом поступке Блищинского написали в стенной газете, учителя хвалили парня, а товарищи смотрели на него с легкой завистью. Идя домой в тот день, Гришка курил папиросы «Красная звезда» и посмеивался. Удивленный таким неожиданным исходом, Тимошкин возмущился, высказал ему все свои обиды на него. Блищинский обозвал его дураком, приказал молчать и даже пригрозил расправой.

Несколько дней после этого Тимошкин ходил словно в тумане, по ночам вскрикивал и даже плакал во сне. Днем не раз подходил он к двери учительской, но так и не осмелился войти туда, чтобы рассказать, как все это случилось. Блищинский же, наверно, догадывался о его переживаниях и вел себя угрожающе холодно.

Дорого обошлись парню его уступчивость и нерешительность.

Незадолго до начала войны Гришка с родителями перебрался на жительство в местечко. У Тимошкина тем временем появились друзья получше, и он впервые испытал настоящую мальчишескую дружбу. С Гришкой они тогда встречались редко. Еще через год Блищинский окончил десятый класс и поступил в медицинский институт. К тому времени неприязнь Тимошкина к нему уже

притупилась, и только в памяти живы были все его злые проделки.

Когда началась война и местечко заняли немцы, явился из города и Гришка. Несколько месяцев он сидел на шее у матери, болтался по улицам и присматривался к новым порядкам. Отец его, мобилизованный в начале войны, где-то пропал (может, отступал на восток, а может, погиб), а к матери вскоре перешел жить примак из окруженцев. К зиме, когда начала создаваться полиция, примак тоже втянули в эту свору наемников. Полицей из него был никудышный, он беспросыпно пил самогон, дважды пьяный терял оружие, и начальство прогоняло его со службы. Но полицейские были нужны, и его брали снова. Зимой же в местечке организовалось интендантство: школу и все лучшие постройки немцы заняли под склады. В помещении сельмага какие-то приезжие прислужники открыли мастерскую по ремонту амуниции и красильню, где окрашивали различные военные вещи и писали вывески. Эти вывески и разные объявления на немецком и белорусском языках развозились по всей округе, и вот в этой красильне к весне оказался и Гришка Блищинский.

Почти год черной и белой краской выводил он на фанере, жести и досках замысловатые готические литеры, свастику, стрелки и разные указатели, на что были большие любители немцы. Почти два года Блищинский получал немецкий паек, какую-то плату в рублях и марках. Когда же разгорелась партизанская война и на местечко трижды совершали налет партизаны, Гришка, видно, сообразил, что в немецкой мастерской ему не от-

сидеться. В эту пору почти все его ровесники и даже ребята помоложе были либо связаны с партизанами, либо по возможности помогали им. И Гришка решился. Он заявил партизанам, что хочет перейти к ним, и те потребовали доказательств его преданности советской власти. Он заманил домой примака-полицая, который в то время дневал и ночевал в комендатуре, опасаясь расправы, с ним еще одного такого же пьяницу, напоил их, обезоружил и через связных переправил в лес. Полицейских, конечно, расстреляли, а Гришке поверили, и он с оружием, отнятым у отчима, пришел в отряд. Тимошкин в это время тоже был там и, слушая, как некоторые партизаны хвалили Блищинского, возмущался. Он-то отлично понимал фальшивую душу своего бывшего друга и не скрывал этого, только в то блокадное время некогда было разбираться в душевных тонкостях нового партизана.

Оказавшись потом в запасном полку, Гришка начал новую жизнь с того, что «разоблачил» одного фронтовика-сержанта, который без разрешения отлучался из части. Сержант, разведчик по специальности, еще в 1941 году награжденный орденом, обычно после вечерней поверки уходил из казармы на станцию, где его ждала девушка. До подъема он возвращался и занимал свое место на нарах. Однажды, будучи дневальным, Блищинский выследил его. Некоторое время он об этом никому не докладывал, молчал, поджидая удобного случая. И вот состоялось собрание, на которое пришли замполит командира полка, командир батальона и другие офицеры. Тут Блищинский, взяв слово, выступил с пламенной речью, разобла-

чил сержанта, которого в тот же вечер отправили на гауптвахту. Начальство заметило Блищинского, — его «непримиримость» к недостаткам и умение красиво говорить многим понравились, и вскоре он стал секретарем ротной комсомольской организации.

В свободное от занятий время Блищинский нарисовал портрет командира роты. Командир на портрете, конечно, получился красивее, моложе и мужественнее, чем был на самом деле. Он не остался безразличным к такому подарку. Не прошло и недели, как рядовой Блищинский, расположившись в Ленинской комнате, уже рисовал плакаты и оформлял наглядную агитацию, в то время как остальные бойцы отработывали на жаре самую трудную тактическую тему — стрелковая рота в наступательном бою.

Прибыв вместе с пополнением в стрелковый полк, Блищинский не попал в батальон. Очевидно как художника, его взял к себе начальник артиллерии — тому нужно было красиво чертить схемы и писать, а Блищинский уже был в этом деле признанным мастером. Так он и прижился при штабе — носил офицерам завтрак, по утрам поливал из котелка на руки, заботился об уюте их землянок, а в остальное время возился с бумагами. И со всем этим он, видно, справлялся неплохо. Когда началось наступление и Тимошкин с простреленной голенью попал в медсанбат, Гришка уже имел медаль «За боевые заслуги», к ней вскоре прибавилась новая — «За освобождение Белграда», в который он въехал на штабной машине, в то время как его земляк ковылял на костылях в санбате.

Тимошкин видел все это, возмущался в душе, но молчал. Он думал — черт с ним, каждому свое! В конце концов, не он, так кто-нибудь другой займет писарское место в штабе, потому что нужны и писаря. Опять-таки разве хорошо это — ходить по начальству, доносить на товарища, все же как-никак они земляки. Правда, Тимошкин не имел с ним никаких отношений, у него были свои хорошие друзья, свои заботы и радости. Но вот незадачливая военная судьба свела их на одной стежке, и Тимошкин думал теперь, что вряд ли выйдет из этого что-либо путное.

Глава третья

Идти становилось труднее, вьюга усиливалась. Они брели по раскопанному с осени картофельному полю, сапоги то и дело скользили, ноги подворачивались на комьях, ветер сек снегом по лицам и слепил глаза. Снег, набиваясь за воротник, таял, было неуютно и холодно. Щеки все сильнее деревенели от стужи, у Тимошкина мерзла и болела обмотанная бинтами рука. Рукавицы он потерял где-то в бою и теперь здоровую руку прятал за пазуху или в карман. Но тогда сползал с плеча ремень автомата, надо было придерживать его, и пальцы так закоченели, что едва сгибались.

Все вокруг сузилось, обособилось от мира дрожащею сеткой снегопада, и боец с трудом узнавал впереди тусклые тени спутников. Он шел по их сле-

дам, уже присыпанным снегом, и думал: хоть бы не споткнуться, не поскользнуться — вряд ли он найдет в себе силы встать. Погода немного обнадеживала. Хоть и трудно было идти, но в такое время легче было миновать передовые немецкие позиции, и если они где-нибудь нечаянно не пагнут на фрицев, то завтра выйдут к своим.

Вверху сновали, мелькали снежинки, кружила вьюга, вились и вились снизу бесконечные цепочки следов. У Щербака след широкий и ровный, сапоги большие (сорок четвертый размер — таких больше никто не носил в батарее), у Блищинского же ступни заметно вывернуты наружу, носками в стороны, левой он, будто прихрамывая, загребает снег. Несколько в отдалении были видны следы ездового Здобудьки.

Следы то и дело путались, сливались со снегом, Тимошкин сбивался с них, сам не замечая того. Видно, боец начал дремать на ходу и не увидел, как товарищи остановились, чтобы передохнуть и дожидаться его. Чуть не столкнувшись с ними, Тимошкин от неожиданности вздрогнул, как это бывает, когда человека внезапно разбудят.

— Устал, говорю? — спрашивал Щербак, стоя перед ним весь усыпанный снегом.

— Ничего, — сказал Тимошкин, поймав в голосе друга еле заметные нотки сочувствия. Он приободрился, вдруг поняв, что в таких обстоятельствах совсем ни к чему обижаться и ждать от товарища многого. Однако Щербак, шагнув к нему, тронул рукой автомат.

— Дай сюда, — уверенно, будто выполняя свою обязанность, сказал он и взял у бойца оружие.

На спине у наводчика висел вещмешок с клином, на правом плече — автомат Скварышева, теперь на левое он вскинул еще и автомат Тимошкина. Блищинский стоял рядом, отвернувшись от ветра и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

— Вот так, против ветра держать. Ветер — наш ориентир, — с привычной самоуверенностью сказал писарь.

Снова они пошли полем, низко нагнув головы от ветра. И снова Тимошкин начал понемногу отставать, а Щербак, Блищинский и Здобудька тусклыми тенями шевелились впереди в снежных сумерках. Хорошо, что на земле оставался их след и Тимошкину не очень нужно было всматриваться, чтобы не потерять направления.

Измученный ходьбой, он не сразу заметил, что впереди что-то случилось. Кажется, кто-то испуганно вскрикнул, затем совсем близко протрещала пулеметная очередь, с ней сразу же слилась другая, и серую тьму над головами прорезали зеленые молнии. Это произошло так неожиданно и так близко, что, еще не поняв, в чем дело, Тимошкин распластался на снегу. И тотчас совсем рядом в заснеженном небе рассыпался огненный букет ракеты. Ее близкий дрожащий свет, недолго продержавшись в снежной выси, ярко осветил поле и три метнувшиеся в сторону фигуры. По зеленоватому дрожащему снегу они быстро бежали куда-то в разорванную тьму ночи. Как только ракета догорела и в небе сомкнулась тьма, Тимошкин вскочил и рванулся за товарищами.

Несколько пулеметных очередей разрезало ночь зелеными линиями трассирующих пуль, вспыхнула

вторая ракета. Из-под ног бойца испуганно метнулась его тень. Он упал, потом в сполохах догоравшей ракеты вскочил, оглянувшись,— кажется, за ним не гнались.

Какое-то время пулеметы еще били в ночь, но это было теперь в стороне — бойцы уже успели немного отбежать. Тимошкин понял, что стреляли из танков, звуки были глухие и гулкие, словно отдавались в бочке. Потом как-то неожиданно все смолкло,— видно, пулеметы расстреляли по ленте и утихли. Позади опять вспыхнула ракета, потом две сразу, но это уже было далеко. В небе белыми мотыльками носились снежинки. Впереди замелькали тени, и боец присел, вглядываясь в просветлевшую тьму. Когда ракеты погасли, стало совсем темно, и ослепленный ими Тимошкин, с трудом переставляя ноги, побежал туда, где показались люди.

Он долго бежал, а товарищей все не было, и Тимошкин уже начал тревожиться. Но вот из темноты послышалось приглушенное «эй!». Тимошкин взгляделся — впереди чернел голый полевой куст и возле него стоял человек. Тимошкин двинулся туда. Это был Щербак, он ждал товарища, отдал ему автомат и спросил:

— Здобудьки не видел?

Под самым кустом, в голых ветвях которого ветер высвистывал свой бесприютный мотив, сидел на снегу Блищинский. Тимошкин ответил, что Здобудьки не видел, потому что, когда раздались выстрелы, ездовой шел впереди с ними.

Пока Щербак вглядывался в ночь, Тимошкин подошел к кусту и повалился в снег. Усталость окончательно сковала все его тело, не хотелось ни

думать, ни даже шевелиться. Рядом, опустив голову и тяжело дыша, сидел Блищинский.

— Понимаешь, чуть не в самые лапы угодили! — прерывисто заговорил он. — Хорошо, что этот обозник крикнул. Вот черт побери! Не хватало вчерашнего.

Щербак, всматриваясь в темноту, на несколько шагов отошел от куста и тихонько позвал:

— Эй, Здобудька!

— Напрасно! — сказал из-под куста Блищинский. — Не услышит.

Тогда Щербак крикнул громче.

— Ты что, сдурел?! — вдруг злобно зашипел на него писарь и вскочил на ноги. — А ну, замолчи!

Он бросился к наводчику, но тот, не обращая на него внимания, смотрел в ночную тьму и слушал. Тимошкин, конечно, понимал друга, — как было идти, оставив ездового под носом у немцев? Однако и ему от этого крика стало не по себе здесь, вблизи от врага. Правда, все думалось, что Здобудька вот-вот догонит и они пойдут вместе.

Но время шло, а ездового все не было. Ребята понемногу отдышались. Щербак с Блищинским, стоя, всматривались и ждали, Тимошкин же сидел под кустом.

— Ну, хватит! — нетерпеливо сказал Блищинский. — Дорога каждая минута. Пошли!

Почувствовав себя командиром, он забросил за плечо автомат и ступил в снег, полагая, что остальные двинутся за ним. Тимошкин нерешительно поднялся, но Щербак по-прежнему смотрел, слушал и не трогался с места.

— Пошли, пошли! Чего стоять? Может, его

уже в плен взяли? Слышь? — настаивал Блищинский.

— Да иди ты! — сердито бросил Щербак.— Иди! Кто тебя держит? — Он ловко поддел плечом автомат и пошел в тьму, туда, где их застигла стрельба.

Блищинский нерешительно потоптался на месте и выругался. Тимошкин, еще не пришедший в себя от усталости, начал застывать на ветру и мелко противно дрожал.

— Надо было ему идти! — с нескрываемой досадой в голосе заговорил писарь, от холода притопывая на месте.— Глупо погибнет, и только. Разве найдешь в таком буране?

От этих слов у Тимошкина снова защемило внутри. Конечно, погибнуть было очень просто, а найти ездового вряд ли удастся. Но все же старый Здобудька для них — свой, батареец, как-никак третий человек из взвода, уцелевший в этом разгроме. Как же было бросать его на гибель в тылу врага?

— А может, он там лежит раненый? — недружелюбно сказал Тимошкин. Блищинский удивленно остановился, перестав мять сапогами снег.

— Ну и что же? Ты его понесешь, раненого?

— А что ж, бросить?

— Ну конечно, бросить — плохо. Некрасиво, понимаешь, неэтично,— раздраженно замахал руками земляк.— Но ведь другого выхода нет. Будем беречь одного — все погибнем. Надо же логично смотреть на вещи.

Циничная откровенность Блищинского хоть и не была новой для Тимошкина, все же своим бесстыдством поразила бойца. Он знал, что никто у них в

расчете никогда не сказал бы таких слов, все они в трудную минуту помогали друг другу. Так всегда было в бою, этого требовал воинский долг, Блищинский же говорил нечто совсем другое.

— Тут простая арифметика,— продолжал Блищинский.— Либо погибать четверым, либо одному. Что выгодней?

— Подлость это, а не арифметика! — сказал Тимошкин и сел в снег.

— Ну и дурак! — объявил Блищинский.— Как пробка! Был таким и таким остался. Жизнь тебя, понимаешь, ничему не научила.

— Ты мудрец! Привык за чужие спины прятаться.

— Что? — Писарь круто повернулся к бойцу.— Где я за чужие спины прятался? Понимаешь, где? Ты что думаешь, в штабе так себе, одни хаханьки? Там люди не гибнут? Каждому свое, брат. Вон и я майора Андреева тасил. Но ведь был смысл! Мертвого же я не поташу. При всем моем уважении к майору. Понимаешь?

Чувствуя безвыходность положения, Тимошкин замолчал. Блищинский потоптался еще возле куста, а потом нехотя снял автомат и сел чуть поодаль. Может, с позиции своей собственной логики он был и прав, только Тимошкин не признавал такой логики. Здобудька не был его другом (этот ездовой вообще мало что значил в их взводе), но Тимошкин тоже не бросил бы его под носом у немцев. Не логика, а элементарное чувство товарищества руководило им, и даже если бы пришлось погибнуть и тому, кто спасал Здобудьку, такая арифметика все равно не убеждала.

Так, окоченевшие, они сидели в темноте, в напряженном ожидании вестей из ночи. Блищинский повернулся на бок и задумался. Тимошкин изредка взглядывал на него, не чувствуя в себе ни дружеского расположения к земляку, ни вражды — одно усталое безразличие владело им, будто Блищинского и не было рядом. Если бы даже что-то и случилось, земляк, пожалуй, и не понадобился бы Тимошкину, который никогда не надеялся на его помощь. Неизвестно, что чувствовал Блищинский по отношению к нему (видимо, то же самое), но внешне оба они были сдержанно спокойны. Все же их объединяла одна беда, из которой им приходилось выбираться вместе.

У них не было часов, и они не знали, сколько времени шли и давно ли исчез во мраке Щербак, только, казалось, просидели они на снегу немало. Сильно продрогнув, Тимошкин встал и начал греться, размахивая рукой. У него мерзли ноги в отсыревших сапогах, а раненая рука совсем омертвела. Блищинский более терпеливо переносил холод и, поживаясь, все поглядывал в ту сторону, куда ушел Щербак.

Снег не переставая падал и падал с неба, медленно тянулось время, а Щербака со Здобудькой все не было. Тимошкин уже вытоптал стежку под этим колючим кустом, проглядел все глаза, но никто так и не появлялся. В голову полезли разные дурные догадки: не попал ли в западню и Щербак? Не нарвался ли где на засаду? А вдруг несет раненого Здобудьку? Или заблудился? Может, надо идти искать его или ждать здесь? Все это тревожило Тимошкина, и он не знал, что делать.

Блищинский сидел и молчал, но, видно, наконец и его проняла стужа. Вскочив, он попрыгал на месте и заговорил недовольно и ворчливо:

— Ну вот, не послушался меня и теперь где-то влип. Пошли дурного, а за ним другого. Теперь замерзай тут!

Тимошкин молчал, поглядывая по сторонам, и все слушал, а тот продолжал свое:

— Факт, попался где-то. Или заблудился.

Тимошкин не отвечал. Ему не хотелось спорить с земляком, он уже знал, что тот скажет дальше. Но Блищинский сказал неожиданное:

— А что, если они поодиночке к своим рванули? А? По одному, конечно, сподручнее..

— Ты что?.. Спятил?

Блищинский постучал каблуком о каблук и с уверенностью, которая никогда не оставляла его, рассудительно пояснил:

— Всегда выходит по-моему. Понимаешь? Я говорил ему: не ходи. Он пошел. Теперь одно из двух: либо у немцев, либо драпанул, а нас бросил. Третьего не дано. Вот и сообрази, не так ли?

— Что соображать? Он же — не ты.

Блищинский притворно засмеялся, потом обрвал смех и сказал:

— Наивная уверенность. А может, он затем и пошел, чтоб в плен сдать.

— Что ты плетешь? Ты бы подумал сперва, что говоришь.

Тимошкин возражал писарю, однако тревожная подозрительность Блищинского уже заронила в бойце беспокорство. Конечно, он, даже умирая здесь, не подумал бы, что Щербак пошел сдать

в плен или нарочно оставил их. Но ведь мог он и заблудиться в такой темноте, и пройти мимо куста. В самом деле, сколько же можно ждать его здесь и как помочь ему и себе?

А Блищинский, кажется, решил доконать земляка:

— Ты послушай: если мы до утра не выберемся, то завтра нам крышка. Понимаешь?

Тимошкин чувствовал себя неуверенно и не знал, что предпринять. Где-то рядом были немцы, неизвестно, где проходил фронт, нигде ни выстрелов, ни ракет, все вокруг погрузилось в темень, затихло, только длинными сугробами наметало снег. Его уже навалило порядочно, под ним скрылась трава, ноги уходили в снег по щиколотку, а он все не переставал сыпать.

Тревога костлявыми пальцами сжимала душу бойца, не давала стоять на месте. Что еще можно было придумать? Блищинский тоже заметно нервничал, и Тимошкин начал понимать, что получится, видно, так, как утверждал писарь: и Щербака они не дождутся, и себя погубят.

Наконец Блищинский поддал плечом автомат.

— Ну, ты как хочешь. Я пошел.

И быстро зашагал по снегу прочь от земляка, в снежную темноту ночи.

На какое-то время Тимошкин растерялся, прикусил губу, у него не хватало решимости остановить сержанта, упрашивать же его он не хотел и остался один.

Это было скверно — оказаться совсем одному. Но он все же подождал немного, с болью, тоской и отчаянной надеждой всматриваясь туда, где про-

пали Щербак и Здобудька. Всеми силами своей души парень жаждал, чтобы друг появился, отозвался, хоть чем-нибудь напомнил о себе. Но время шло, а никто так и не появлялся. Тогда, мысленно ругаясь, проклиная немцев, метель и своего земляка и то и дело оглядываясь, Тимошкин пошел по едва заметному на снегу следу Блищинского.

Глава четвертая

Одинокó ковыляя в этой снежной ночной круговерти, Тимошкин с особой силой почувствовал, что Щербак — его самая большая утрата сегодня. Еще недавно, едва только утих бой, ему казалось, что страшное уже позади. Хотя их и осталось всего трое, но среди них был Щербак — как всегда молчаливый, строгий, решительный. Он смотрел, он вел, он думал за всех. Теперь же Тимошкин оказался один: ни Здобудьки, ни славного, хорошего Ивана. Блищинский же не был нужен ему — ушел, и боец не жалел о том.

И все же он шел по следу писаря — шел, так как знал, что тот хитер и всегда найдет выход из всякой беды. К тому же на сумке у Блищинского был компас.

Следы едва проступали из-под снега и вели через огромное поле, пересекли заснеженный проселок, едва заметный возле телефонных столбов с гудящими на ветру проводами. Затем, задыхаясь, Тимошкин перешел небольшой пригорок, миновал несколько соломенных скирд и снова поплелся по-дем.

Ветер ослабевал, снежинки понемногу редели, — казалось, метель утихала. Стали заметны одинокие деревья, кое-где в поле проглянули полосы виноградников с натканными для лозы колышками; какие-то строения он обошел издали — так вели осторожные шаги Блищинского. И все это время его не покидали мысли о Щербаче.

Месяц назад возле дунайской переправы погиб заместитель командира батальона капитан Батов. Хоть и не следовало бы о покойнике думать плохо, но он действительно был чрезмерно криклив и не всегда справедлив, этот офицер. Однажды, еще в Трансильвании, батальон задержали две немецкие самоходки, замаскированные на окраине деревни. Не жалея снарядов, прямой наводкой они с полчаса расстреливали нашу пехоту. До деревни было километра полтора, подбить самоходки из сорокапятки нечего было и думать, а другой артиллерии вблизи не было. Роты залегли за насыпью вдоль железной дороги, наступление приостановилось, ждали, что решат командиры.

И тогда Батов вызвал взводного, лейтенанта Пищука, и приказал ему: на рысях выскочить с пушкой из-за насыпи, подъехать к груше, одиноко стоявшей в поле как раз посредине между деревней и дорогой, и прямой наводкой расстрелять самоходки. Пищук был молод и неопытен, спорить с начальством не умел, козырнул и побежал к пушкам.

Когда он объявил расчету задачу, бойцы повесили носы. Глянув в поле, каждый из них понял, что жить осталось недолго. Легко было Батову приказывать расстрелять самоходки, а как сделать

это, если до груши добрых восемьсот метров,— по-пробуй доберись до нее под прицелом двух самоходок. Лейтенант объявил приказ и по настроению бойцов понял, что надеяться на успех нечего.

И тогда Иван Щербак скинул шинель, подхватил автомат, взял у Кеклидзе противотанковую гранату и полез в трубу, под насыпь. На той стороне, по канаве, он прошмыгнул к борозде в пахоте и по ней торопливо пополз к деревне.

Весь батальон следил из-за насыпи за этой отчаянной вылазкой. Щербак полз долго, почти не останавливаясь и не отдыхая. Из деревни, к счастью, его не заметили, самоходки изредка били по насыпи, а его не трогали. Хорошо еще, что немецкой пехоты в деревне не оказалось, и он, добравшись до околицы, скрылся за белыми, увешанными связками красного перца домами.

Какое-то время Иван не подавал признаков жизни. Самоходки изредка били по дороге, ранили командира шестой роты, одного связиста. Хлопцы начали было уже думать, что пропал их Щербак, как в деревне вдруг громынуло и над домами за клубился дым. Одна самоходка загорелась, а другая, почуяв опасность, взревела мотором и подалась прочь. Бойцы выскочили на дорогу и напрямик через поле бросились к строениям. Сорокапятчики прицепили к передкам пушки и тоже понеслись туда. Подкатили они огородами к небольшому садику, где дымилась самоходка, и видят: на погребке, в котором венгры держат вино, сидит Щербак, перевязывает себе руку и ругает немца, который удирая на самоходке, все же цапнул его пулей.

Вот такой был Щербак.

О прежней жизни его Тимошкин знал мало. Щербак не любил говорить о себе, больше молчал да слушал других. А поговорить в расчете были мастера, каждый старался рассказать что-нибудь, и все при этом обращались к наводчику. Слушатель из него был отменный: делает что-нибудь или сидит на станине, курит и с привычной серьезностью слушает того, другого или всех сразу. (Может, еще и за эту способность терпеливо выслушивать их батарейцы уважали наводчика.) Из его прошлого было известно, что парень он городской, учился на фрезеровщика, имел четвертый разряд и очень дорожил этой специальностью. В начале войны он ушел в армию вместе со старшим братом, который погиб в первом же бою. Возможно, именно по этой причине Щербак стал не по годам строг, редко смеялся и относился ко всему с неюношеской серьезностью.

Он не очень любил книжную науку, окончил всего шесть классов, но в работе и в людях разбирался неплохо. Если он копал огневую, то никто рядом с ним не хитрил, не волянил — все заражались его трудолюбием. А если кто и начинал подлениваться, то Иван подзывал его и говорил: «Подпрягайся. Полечу тебя, лодыря. Я выбрасывать — а ты подбирать». Тут уже лентяю приходилось потеть!..

И вот как-то нелепо Тимошкин потерял его. Невозможно было думать, что он погиб, скорее всего пошел другой дорогой, но боец не мог примириться с тем, что друга не будет рядом. Через каждые пять минут он оглядывался, прислушивался, думал:

а вдруг где-нибудь покажется в теменн крутоплечая фигура Ивана. Тимошкин уже начал жалеть, что послушался Блищинского и не пошел по следу Щербака: может быть, отыскал бы его. Правда, след быстро занесло снегом, а в то время, когда он еще был виден, теплилась надежда, что Иван скоро вернется.

Снег все редел, редел и незаметно совсем перестал сыпать. На заснеженной земле стало очень светло, во все стороны широко раскинулся спокойный зимний простор, словно напоказ выставив в ночи все черные пятна земли, бурьян, виноградники, одинокие силуэты деревьев. И только даль на горизонте под темным нависшим небом терялась во мраке. Мороз крепчал, ветер рвал полы шинели, и колени мерзли от стужи. Лица своего Тимошкин, кажется, не чувствовал, может быть, отморозил щеки, здоровую руку прятал за пазуху, раненая же застыла и мучительно ныла.

Следы шагов Блищинского стали заметнее. Они привели бойца к какому-то земляному валу, белешему на равнине невысокой крутой хребтовиной. Блищинский, как это видно было по следам, взобрался на вал, очевидно, осмотрелся и уже потом, спустившись, пошел вдоль него. Тимошкин на вал не полез, а тихо побрел в ту сторону, куда повернул земляк.

Он шел, пока вдалеке не появились деревья, там была дорога. Опасаясь попасть в беду, Тимошкин приготовил автомат и не спеша вышел из-за вала, который тут обрывался. Кругом было тихо — глубокая зимняя ночь белесой пеленой укрывала землю. Возле дороги в канаве лежал на боку пере-

вернутый автомобиль, какой-то груз густыми пятнами чернел на снегу рядом. Ничего подозрительного там, кажется, не было, и боец, осторожно поглядывая вокруг, двинулся к дороге.

Он уже подходил к автомобилю, как вдруг ему показалось, что там кто-то есть. Тимошкин остановился, всмотрелся: действительно, из-за машины торчал короткий ствол автомата. Но вот ствол дрогнул, опустился, и на снег ступил человек, который потом злобно плюнул и закинул за плечо автомат. Это был, разумеется, Блищинский.

— Ну что, дождался? Так где же дружок твой?

Тимошкин уже не думал догнать его, увидеть снова; но одиночество, пожалуй, хуже врага. И боец в тот момент невольно обрадовался; хоть и никудышный он человек, его земляк, но казалось, вдвоем будет легче. Тимошкин не ответил ему (о чем было говорить!), и Блищинский, очевидно, понял это как молчаливое признание им своей ошибки.

— Слушал бы меня. А то уперся, — сказал он, выходя из-за машины.

И тут Тимошкин увидел возле кабины труп в длиннополой шинели. Писарь нагнулся, деловито ухватился за ногу убитого и начал стягивать валенок. Второй, уже снятый валенок стоял рядом, и ветер шевелил брошенную на снегу портянку.

— Примерз, что ли! — говорил Блищинский. — А ну, помоги, что обходишь?

Тимошкин остановился поодаль.

— И не противно тебе? — сказал он.

Валенок, наверно, сидел туго, труп волоком тянулся по земле, шинель на нем подворачивалась. Блищинский уперся в него сапогом.

— Ну уж сказал: противно! На войне ничто не противно. Ноги морозить лучше?

Наконец, едва не упав, он сорвал валенок, присел на ящик, снял свои кирзовые сапоги и быстро переобулся. Валенки действительно были хорошие, с обшитыми кожей носками и кожаными подошвами. Блищинский довольно притопнул ими и запахнул полы шинели.

— Валеночки первый сорт. Спасибо покойнику, теперь ноги как в печке будут. Понимаешь?

На дороге никого не было. Они перешли ее и снова направились вдоль точно такого же, как прежний, вала. Блищинский, как обычно, держался уверенно, что-то пожевал из бумажки, потом остановился, вынул из-за пазухи немецкую, обшитую войлоком флягу и отвинтил пробку.

— Видишь? Ром. Наверно, французский.— Он коротко хихикнул.— Ин вина веритас. Понимаешь? Да где тебе понять: истина в вине. Запомни.

Потом, запрокинув голову, немного отпил, вытер ладонью губы и, завинчивая флягу, сказал:

— Вот хорошо! Враз селезенка потеплела. Тебе дать? На, глотни. Только немного.

Тимошкин нерешительно взял, отвернул пробку и, поднеся к губам настывшее горлышко, глотнул раза два. Особого наслаждения он не испытал, но ароматная жидкость действительно жаром опалила в груди, сразу стало теплее. Боец отдал фляжку и, чувствуя, как прилив какого-то нового, непривычного чувства наполняет его, зашагал рядом. Ему вдруг с особенной силой стало тоскливо оттого, что в такой беде он впервые остался без друга. «Эх, Ваня, Ваня!» — шептал он, оглядываясь, но

сзади никого не было. Ваня, видимо, исчез навсегда. Блищинский широко шагал в новых валенках. Тимошкину было трудновато угнаться за ним, но он, как мог, старался больше не отставать. Разговаривать ему не хотелось, два горячих глотка как-то совсем расслабили бойца. Блищинский, наоборот, сразу оживился и на ходу вплотную приблизился к земляку.

— Чего такой кислый? А? Что дружок пропал? Плюнь ты, какой может быть друг на войне? На день-два. Потом все равно разлука: кто в Могилевскую губернию, кто в госпиталь. Понимаешь?

Тимошкин молчал, он знал, что Блищинскому не понять его переживаний, да боец и не нуждался в этом.

— А вообще ты дурень. Меня бы держался. Я бы тебе не дал пропасть. Что, думаешь, силы мало? Думаешь, какой-то там писарь!.. Как бы не так. Понимаешь? У меня власти не меньше, чем было у майора Андреева. Недавно вот в артмастерской ездовой выбыл. Шепнул бы Борьке Павловичу из строевой части, сразу переписал бы тебя — и концы в воду. Небось не тащился б теперь черт знает где. Понимаешь?

Тимошкин неприязненно огрызнулся:

— Почему же ты тащишься? Умник такой...

— Я? Это дело случая. Понимаешь? Что я, не соображаю? Думаешь, ради какой-то медали на глупость пойду? Дудки. Плевал я на медаль. Мне жизнь дороже медали. И если бы не случай, я теперь бы да-а-леко был. И немцам не дался бы.

— Что же тебя удержало?

— Что, что? Гриценку — ординарца Андреева — позавчера подстрелили. Понимаешь? И надо же было ему, дураку, налететь на пулю. Так майор Андреев утром заходит в землянку, говорит: «Пойдем проветримся, а то ты тут дымом провонял». Ну что, думаю, пойду. Надо же и мне иногда в войсках показаться. Может, за полдня ничего и не случится. Пошли в третий батальон, и вот тебе на — как раз прорыв. Майору две пули в живот — и взятки гладки. А я влип. Вот так, понимаешь?

Он быстро хмелел. Движения его стали порывисты, суетливы, левая рука широко отмахивала в такт шагам. Осторожности, однако, он не терял и, разговаривая, бросал быстрые, короткие взгляды по сторонам. Кажется, молчаливость земляка пробуждала в писаре желание исповедоваться, и, видимо потому, что здесь не было свидетелей, он перестал скрытничать и дал волю словам.

— Мы же с тобой, Тимошкин, земляки, понимаем друг друга,— говорил он, на ходу что-то жуя.— Правда, когда-то не того... Не слишком ладили. Но пустяки — известно, пацаны были. А теперь? Надо же трезво смотреть на все. Главное — выжить. Ты не думай, что я сержант, так мало что смыслю. Хе, черта с два! Соображать надо. Под танк бросаться действительно немного ума надо. Отдать концы — дело нехитрое. Но штирб цу рехтен цайт¹, как писал Ницше. Понимаешь? В этом вся соль.

Сволочной человек! Он заслуживал того, чтобы дать ему по морде, но Тимошкин, сжав зубы, тер-

¹ Умей умереть вовремя (нем.).

пел и слушал. Бойцу захотелось узнать земляка до конца, чувствовалось: он разболтался и должен открыться.

— В полку что? В полку, хоть бы и в штабе, не сладко. Не пули, так снаряды, бомбы. Вот бы в корпус затесаться. Это дело! Понимаешь? Была у меня мыслишка... Если бы не этот проклятый прорыв. Но ничего. Может, даже и лучше. Ты мотай на ус: выйдем — на передке не задерживаться. Главное — поглубже в тыл. А там — присмотреться. Ты вообще возле меня держись, я все устрою. Не пропадешь! Понимаешь?

— Что, в тыловые части лезть? — с издевкой спросил Тимошкин. Но Блищинский только удивился:

— Ну и что ж? Полезем. Подумаешь? Рапортичку напишем: так, мол, и так, полк разбили, одни остались. Стояли насмерть, дрались до конца...

— Эх ты! — сказал Тимошкин, уже не скрывая своего презрения.

— Что? Что я?

— Сволочь ты, вот что!

Блищинский фальшиво заржал и окинул бойца холодным, почти ненавидящим взглядом.

— Ах, вот как! Может, донесешь, когда выйдем? А? Плевал я на это! А свидетели где? Кто слышал? Если на то пойдет, я сказану не такое. Скажу, что ты у немцев в плену был и давал показания о наших войсках. Ну? Что? А-а, не нравится? Вот так! — Он засмеялся и уже добрее добавил: — А впрочем, я пошутил. Чтобы тебя прощупать, каким духом живешь? Проявил бдительность. И ты не обижайся: проверка! Как полагается.

И он снова заржал; оскаливая большие передние зубы. Тимошкин внимательно и несколько удивленно посмотрел на него — действительно, как знать, где у него была правда, у этого человека. Он мог ее, эту правду, подать так, что она выглядела, как ложь, и, наоборот, ложь у него могла показаться правдивее всякой правды.

И вдруг писарь умолк, замедлил шаг — впереди вал обрывался и из-за него показалась изгородь, какие-то строения, дома, деревья. Бойцы осторожно вышли из-за вала — перед ними была окраина какого-то городка или деревни. Все кругом покойно дремало, только где-то вдали, буксуя, натужно ворчала машина.

Блищинский остановился, прислушался, — его хмельная самоуверенность сразу сменилась пугливой настороженностью.

— Пошли потихоньку, — сказал Тимошкин. — Что же стоять?

Сержант молчаливо согласился, и они, минуя занесенные снегом окраинные домики, подались в обход селения. В одном дворе вдруг всполошилась собака, царапая когтями доски, бросилась к забору, хорошо, что забор был сплошной и высокий. Блищинский попятился, вскинул автомат, судорожно прижав к груди. Вскоре они свернули за угол, и собака утихла.

Оглядываясь, с полчаса крались вдоль стен и заборов. Вдруг они остановились, попятиться назад и прижались к дощатой стене какого-то сарайчика. Впереди, за близкими деревьями, виднелась дорога, и оттуда донеслись голоса. В предраусветной темноте отчетливо вырисовывались силуэты авто-

мобилей, длинных приземистых транспортеров, между ними ярко сверкнул длинный пучок света, что-то звякнуло, потом свет погас.

Бойцы замерли и прислушались, самый первый вопрос был — кто: свои или немцы? Разговор на дороге был очень тихим, его нельзя было разобрать, но Блищинский каким-то одному ему известным способом определил:

— Немцы.

Оба с минуту молчали, обдумывая, как избежать встречи, потом сержант прошептал:

— Надо смываться отсюда. Давай в обход!

— В какой, к черту, обход! — возразил Тимошкин.

Действительно, в обход было нельзя. Увидев их в поле, немцы сразу насторожились бы, окликнули, тут бы они и попались. Лучше было пробираться вдоль домов, держаться поближе к машинам и затем перебежать между ними дорогу.

Поняв это, Блищинский после короткого колебания ступил в снег, и они, прижимаясь к заборам и глухим стенам строений, подошли совсем близко к улице. Крайним тут был серый с верандами особняк, за сетчатой изгородью которого густо разросся кустарник. Бойцы притаились у проволоочной изгороди и всмотрелись в дорогу.

Теперь уже хорошо стало видно, что на дороге вытянулась колонна крытых брезентом машин. Людей там, однако, не слышно было, только глухо стукнула дверца кабины, и, тихо шагая по дороге, кто-то сошел на обочину. Будто всматриваясь во что-то, он постоял возле дерева, потом запахнул полы шинели и вернулся к машине.

Они долго сидели под проволокой. Блищинский, видно, струхнул, это чувствовалось по его напряженной, ссутулившейся фигуре, по злому шепоту в ответ на всякое неосторожное движение земляка. Хотя и Тимошкину было не очень весело, но он знал, что бояться и не уметь скрыть этого — по меньшей мере наивно для фронтовика.

— Ну и западня! — озабоченно шипел Блищинский. — Что же делать?

Он напряженно искал выхода, стремясь придумать, как бы выкарабкаться из непривычно опасного положения. Тимошкин не очень-то и старался что-либо найти, он знал, что ничего, кроме как переходить дорогу, они не придумают. От того, удасться им это или нет, будет зависеть все остальное.

— Что? Надо переходить, — сказал Тимошкин, ожидая согласия товарища. Но Блищинский все еще не мог решиться на это и молчал, всматриваясь в ночь.

— Ладно. Только вот что, — не совсем уверенно начал он. — Пусть кто-нибудь сначала один — в разведку. А потом второй. Чтобы не обоим сразу. Понимаешь? Давай ты первый.

Тимошкина это возмутило, однако он сдержался, стараясь подавить в себе это первое и, может быть, неверное чувство.

— А почему я?

— Ты что, испугался? — зашептал Блищинский. — Ну не ходи, коли боишься. Подумаешь, я пойду. Только... У меня сумка, документы, понимаешь? Мне нельзя.

Как всегда в подобных обстоятельствах, у него мгновенно появились причины, дающие ему право

остаться в стороне от самого трудного. Так он делал некогда еще на выгоне, когда они вместе пасли гусей. Гуси то и дело забирались в посевы, а ребята играли в овражке и поочередно бегали заворачивать их. Но когда подходила очередь Блищинского, он сейчас же находил причину: то у него болела нога или живот, то не его гуси забегали в рожь первыми. Теперь было то же самое. Но тут медлить было нельзя, и Тимошкин, не удержавшись, подхватил автомат.

— Если так — пусть!

Конечно, он поступил опрометчиво, — такая горячка (сам понимал) была неуместна тут, в двадцати шагах от противника. Но боец не хотел, чтобы сержанту показалось, будто он трусит или старается схитрить. Тимошкин рванулся к дороге, не оглядываясь и не думая, что и как будет потом. Впереди чернело тупорылое очертание «мерседеса», за ним в колонне был разрыв шагов на пятнадцать, и боец направился туда. В это время сзади послышался шепот Блищинского:

— Стой, подожди — пошли вместе.

Он нагнал земляка, и они, не останавливаясь, двинулись вдоль забора.

Очертания машины постепенно прояснились, под придорожными деревьями выше стал ее брезентовый кузов. Тимошкин прыгнул через кювет, но не перепрыгнул, провалился в снег и с усилием выбрался из него. Блищинский снова где-то пропал, но боец не оглядывался: писарь теперь стал ему совершенно ненужным, почти ненавистным. Стараясь ступать как можно спокойнее, он вышел на дорогу. В кабине задней машины тускло вспыхнул и

погас огонек сигарки. В кузове «мерседеса» что-то стукнуло, завозилось, и хрипый спросонок голос проворчал под брезентом:

— Руигер ду, Гейдель!

Широким шагом Тимошкин пересек дорогу, снова перескочил кювет, и его сердце, замершее от напряжения, вдруг часто-часто застучало в груди. Хотелось бежать, но он с трудом сдерживал себя, чтобы не привлечь внимания немцев, шел медленно. И тогда сзади послышалось напряженное дыхание Блищинского. Вприпрыжку тот нагнал земляка и, пугливо озираясь, начал быстро опережать его.

— Тише! — зло шепнул Тимошкин. — Видно же...

Блищинский, очевидно, понял, что его торопливость может выдать их, и замедлил шаг. Преодолевая в себе страх, писарь быстро входил в привычную роль начальника. Еще через минуту он scomандовал:

— За мной! Не отставай! Не отставай!

Прижимаясь к каким-то низким хозяйственным постройкам, они уже порядком отошли от дороги. Тимошкин оглянулся и немного успокоился: машины едва чернели вдали. Немцы бойцов не заметили или не обратили на них внимания, возможно приняв за своих. Впереди низко осело в снегу какое-то длинное здание, они забежали за его угол и перевели дыхание. Дорога была все еще близко, но строение укрыло их от противника, и Тимошкин не стал больше сдерживать свой гнев.

— Эх ты! Хвалился только: знаю, понимаю! А пришлось — так за спину прачешься. Трус!

Блищинский нервно повернулся к бойцу.

— Трус? — возбужденно зашипел он. — Это я трус? Ты что болтаешь! У меня сумка майора! Ты знаешь, какие там документы? Знаешь?

— Не знаю и знать не хочу.

— Вот так и скажи. Дурака кусок! Здесь — секретные документы. Понял? И заткнись!

Блищинский недовольно помолчал, отряхнул снег с полы своей офицерской шинели, но все еще не мог успокоиться и ворчал:

— А то «трус»! Надо головой думать. Понимать, что к чему. Учил, учил немец — и никакого толку. Лезем как свиньи в плетень. Это как у нас в оккупацию... Помнишь? В сорок втором в Заболотье какой-то дурак убил паршивого немца. Приехали каратели, сожгли деревню, расстреляли двадцать мужиков. И за что? За одного немца. Ну, стоило убивать?

— Ага. Знаешь, как в анекдоте, — сказал Тимошкин. — Как же идти на фронт: там могут глаз выбить?

— Дурак! — плюнул Блищинский. — Глуп как пробка.

— Ладно уж. Хорошо, что ты умен.

Писарь замолчал и надулся.

Злясь друг на друга, они долго еще шли молча. По всему было заметно, что близилось утро, сильно донимала усталость, и у бойцов начали слипаться глаза. Изю всех сил боролись они с одолевавшей их сонливостью, но все же дремали на ходу. Однажды, споткнувшись, Тимошкин упал в снег, а когда открыл глаза и поднялся, неожиданно обнаружил, что тьма как-то сразу раздвинулась: в чистом поле

стали видны редкие стебли бурьяна, кустарник на межах; впереди возвышалась скирда соломы.

Ветер не утихал, по полю стлалась поземка, и над заснеженной тревожной землей постепенно светало.

Глава пятая

—Ну вот и вышли, чертова псина! — с досадой сказал Блищинский.

Они обессиленно прислонились к запорошенной снегом скирде и с отчаянием смотрели на восток, куда лежал их путь и куда уже невозможно было податься.

Незаметно совсем рассвело, облачное утреннее небо приподнялось над бескрайним простором. Наискось от скирды лежали ровные ряды виноградника, в полкилометре поперек поля, — наверное, на границе двух земельных владений, — протянулись молодые деревца. Дальним своим концом деревца упирались в небольшой хуторок, который сиротливо ютился среди огромного снежного поля. Несколько поодаль от него и дальше за деревьями, чуть не у самого горизонта, возвышался похожий на курган холмик, и на нем — видно было отсюда — ходили, стояли, копали траншеи немцы. Это было далеко, но бойцы не сомневались, что перед ними противник. Только что с вершины холма спустилась группа людей, наверно командиров. Один из них постоял, размахивая руками, должно быть отдавал указания, потом сел в машину и покатил по дороге в ту сторону, откуда всю ночь шли земляки.

Блищинский достал из сумки майора артиллерийскую карту и, то и дело оглядываясь, начал водить по ней прокуренным коричневым ногтем в поисках места их нахождения. Вид у него был озабоченный, несколько даже растерянный; от прежней его самоуверенности не осталось и следа.

— Давай вот так пойдем,— сказал Тимошкин, показывая рукой в сторону от холма с немцами. Блищинский оторвал от карты озабоченное лицо, сощурил близорукие щелочки-глазки и посмотрел вдаль.

— Что ты! Не пройдешь... И не высовывайся, не высовывайся так! Садись! — начальнически прикрикнул он, увидев, что боец больше, чем следовало, высунулся из-за скирды.

Тимошкин постоял немного и почувствовал, что снег, виноградники и деревья начинают сливаться в глазах. В пути все-таки легче было бороться со сном, да и не так донимала стужа, теперь же мерзли ноги и все тело наливалось неодолимой усталостью. В голове от слабости и бессонницы тягуче, однообразно гудело, и мысли никак не могли преодолеть какую-то сонливую лень. Хотелось сесть, успокоиться, забыться, и больше, казалось, ничего не надо было. Прислонившись спиной к соломе, Тимошкин сел под скирду и с тупым безразличием ко всему отдался покою.

Скирда была большая, с огромной снеговой шапкой наверху. С той ее стороны, где нашли пристанище бойцы, кто-то раньше дергал солому, и там образовался застрешек, под которым почти не было снега. Шагах в десяти от скирды валялась железная бочка с двумя обручами на ней, рядом, при-

порошенная снегом, лежала убитая лошадь. Плоская шея лошади прогнулась в снегу, брюхо неизмеримым горбом выперло вверх, задняя нога высоко задралась, и на ней свежей ржавчиной краснела подкова.

— Ну и ну! — с тревогой в голосе сказал Блищинский, отрываясь от карты. — Что же делать?

— Ждать. Может, вечером выберемся, — отозвался Тимошкин, чувствуя, что преодолеть усталость уже не в силах.

— Вот как влипли! Теперь уже конец, — упавшим голосом объявил писарь.

Тимошкин, вспомнив ночной разговор, съязвил:

— Вот тебе и тыловые части! Хоть бы к фронтовым прибиться.

— Черт знает что придумать.

— Думай. Ты же умник. Ты вел.

— Ага, я вел! — обозлился Блищинский. — Я вел не к немцам — к своим вел. Не забывай этого.

— Может, скажешь, что ты меня спасал? — уныло спросил Тимошкин, прижимаясь к скирде. Блищинский уставился на него своими маленькими и быстрыми глазками и с полминуты смотрел зло и придиричиво, будто соображая что-то.

— Поросенок! Если бы не я, ты и теперь под кустом лежал бы. Дружка дожидался.

— А ты и теперь под забором сидел бы, — недолго думая, огрызнулся Тимошкин. У парня уже накипело на сердце — и за хвастовство, и за бесстыдство и трусость Блищинского, и вообще за все прежнее, что копилось годами и разделяло этих людей.

— Ты что? В самом деле трусом меня считаешь? — запальчиво заговорил Блищинский. — Думаешь, я за свою жизнь боюсь? Что ж, может, и так. Допустим. Но не забывай: я пушки не бросил, как некоторые... Смелые. А за пушку ты смотри... Стоит узнать начальству и... Понимаешь?

— А что пушка? — откинулся от соломы Тимошкин. — Мы что — немцам ее отдали?

Блищинский смолчал, а Тимошкин подумал, что, видно, писарь не забудет про пушку. Может, еще выйдя к своим, переврет все и донесет начальству — тогда попробуй докажи, что было не так. Но боец не хотел спорить, — его занимало другое. Он снова подался в застрешек. Блищинский, не на шутку раздраженный новой неудачей, гнусаво скулил:

— Вот влопались, так влопались! Теперь уж капут! Это как пить дать. Если даже и выберемся, мало радости. Теперь мы — окруженцы. Вот чертова история! А?

Тимошкин и сам знал, что это плохо. Правда, до сих пор он об этом не думал. Все казалось, что окружение неглубокое, до утра они выйдут из него, найдут свою дивизию и там все объяснят. Но эта задержка, похожая на западню, встала неодолимой преградой на пути к спасению. Было отчего тревожиться.

— Теперь окруженцы, понимаешь? — говорил Блищинский. — В анкете уже не напишешь, что в плену и окружении не был. Теперь ярлык на всю жизнь. Да еще особый отдел на цугундер возьмет. Понимаешь?

— За что брать? — возразил Тимошкин. — Что мы — преступники, что ли?

— Э-э, преступники! Чудак! — подхватил Блищинский. — Ты, наверно, мало еще видел. А я вот знаю. Преступники или не преступники, а теперь на крючок — и сюда, голубчик. Посадят, и попробуй докажи, что не водовоз.

Черт знает, почему он напоминал об этом, неужели им мало было других забот — усталым, голодным, раненым? У Тимошкина его слова вызвали в душе злую обиду, но все же какой-то трезвой частицей рассудка он не мог не согласиться с сержантом. Боец и сам помнил несколько случаев, когда вышедших из окружения отправляли в тыл и там начинали следствие, составляли протоколы, опрашивали свидетелей. Правда, тогда его не очень задевало это, теперь же он сам оказался в таком вот положении. А впрочем, пусть проверяют, пусть пишут протоколы, думал Тимошкин, мы ничего плохого не сделали, и совесть наша чиста.

И будто в ответ на эти мысли Блищинский уныло сказал:

— Тебе-то что? С тебя немного возьмешь. А у меня вот учеба горит. Понимаешь? Тысячу чертей на их голову! — раздраженно добавил он.

Тимошкин поднял отяжелевшую голову:

— Это какая учеба?

— Какая? На курсы должны были послать. Понимаешь? На курсы младших лейтенантов, — уточнил Блищинский. — А теперь, видно, амба. Не пошлют же окруженца, — говорил он, мрачно вглядываясь в даль и ковыряя в зубах соломинкой.

Тимошкин от удивления раскрыл рот: вот почему писарь так заботился о своей репутации! Ну конечно же прошлой ночью он говорил правду. Этот человек думал о карьере и на фронте. Неизвестно, удастся ли им унести отсюда ноги, а он уже расстраивается, что не придется попасть на курсы. Хотя оно и понятно: Гришка всегда старался извлечь какую-нибудь выгоду для себя; во вчерашнем бою ему не повезло впервые, и потому он так упрямо выкручивался.

В это утро они находились в одинаковых условиях, шансы на спасение у них были равные, и погибнуть они могли вместе. Но Тимошкин все же не мог не почувствовать злорадного удовлетворения оттого, что наконец и Блищинского настигла беда. Хоть раз узнает, где раки зимуют, а то просидел полгода в штабе, нацеплял медалей, да еще намеревается стать офицером.

Боец глубже забился в застрешек, прикрыл шинелью руку и, дрожа всем телом, с отвращением глядел на Блищинского. А тот, будто и не чувствуя этого отвращения, уныло посматривал в поле и ворчал:

— Черт его знает, как все глупо обернулось. Все шло нормально. И вот на тебе! Хорошо еще, что в воскресенье заполучил рекомендацию у майора. Теперь уж у покойника не возьмешь.

Тимошкин, уставясь на него, от удивления не мог вымолвить слова. Писарь почувствовал его замешательство и, обернувшись, смерил земляка презрительным взглядом:

— Что рот разинул?

— Куда... куда это рекомендацию?

— Хе, куда! В партию!

— В партию? Ты?

Блищинский повернулся к спутнику:

— Ну а что ж? Чему удивляешься? Ты что, думаешь, не примут? Хе! А ты спроси в штабе, что такое писарь артчасти Блищинский? Тебе скажут. И замполит, и начштаба, и майор Андреев сказал бы. Понимаешь? Что я, дело свое плохо знаю? Или малограмотный? Комсомолец, бывший партизан, активист. Учти, я один в штабе с незаконченным высшим образованием. Понял?

Тимошкин глядел на сержанта и думал, что сегодня, наверно, уж ничем больше не удивит его этот человек. Теперь он окончательно понял, каким стал земляк со времени их службы в запасном полку. Он хорошо знал, что Блищинского уже ничем не смутишь, не вызовешь у него раскаяния, он даже и на оскорбления не реагирует, хотя, кажется, и не считает себя виновным. И все же Тимошкин сказал ему:

— Шкурник ты! Жулик! С таким нутром тебя за сто километров к партии не подпустят.

Писарь выплюнул соломинку и всем телом повернулся к бойцу — в его глазах тлела ироническая улыбка.

— Ого! Как здорово! Даже чересчур. Только почему я жулик? И почему не подпустят? Эх ты, младенец! — вздохнул он с тихой притворной грустью. — Жизни не знаешь, молокосос.

— Если ты знаешь, то почему на собраниях говоришь не то? Тогда ты небось по газетке шпаришь. Там вон какой — гладенький, тихенький, все одобрял и поддерживал...

Тимошкин весь дрожал — и от стужи, и от ненависти к этому цинику.

— Поддерживаю! — передразнил Блищинский. — Что я, дурак, на рожон лезть? На собрании я говорю, что все говорят. Что замполит поручит. Я ведь солдат все-таки. Комсомолец и так далее. Да что тебе объяснять, разве ты поймешь?

— Что понимать? Все ясно!

Тимошкину казалось, что он больше, чем кто-либо, знал этого мерзавца, и в то же время понять его до конца было невозможно. Наверное, каждая его мозговая извилина имела свое отношение к миру, свое, отличное от людского, намерение, вся его натура состояла из расчета, фальши и хитрости. Тимошкин никогда не слышал, чтобы он перед кем-нибудь так выворачивал свое нутро; теперь же, неизвестно по какой причине (возможно, потому, что они попали в западню, из которой пока не было выхода), Блищинский разозлился и перестал скрывать свои взгляды на жизнь.

— Черта лысого ты понимаешь! Ты молокосос и недоучка, — говорил сержант. — Что у тебя за плечами? Девять классов. А я философию изучал, мудрость жизни. Мои родители — сам знаешь — мужики. Как жили? В темноте, в недостатке — работа до отупения, пустой суп, лапти. Но то время прошло, и я хочу жить лучше. Вырваться в люди. Пер августа ад августа — сквозь трудности к высотам, понимаешь? Я ведь никого не убиваю, не воруя, не граблю. Я сам по себе. Что тут удивительного? Теперь вот я говорю тебе это, потому что ты все же земляк, хоть и такой колющий. Опять-таки нас двое, свидетелей нет. А вон немцы. И я не

боюсь. Да и сколько таких, как я. Только они не скажут. Они в себе живут и для себя. Думают одно, а говорят другое. Приспосабливаются. А ты что думал? Патриотизм? Героизм? Ха! Детский лепет.

Тимошкину вдруг захотелось ударить его и уйти к другим людям, таким, какие были в их расчете,— к Щербаку, Скварышеву, Кеклидзе... Даже Здобудька теперь показался ему простым и надежным дядькой. Но уйти было некуда. Сзади, впереди и по сторонам были немцы. Щербак пропал где-то в снежной ночи. Скварышев, Кеклидзе остались навеки в том узком окопе, на огневой позиции. И только он, этот шкурник, сидел в одном шаге от него и говорил отвратительные по своему цинизму слова. А Тимошкин вынужден был их слушать.

«Эх, Ваня, Ваня! Дорогой друг, — думал он. — Как ты мне сейчас нужен. Мы с тобой похоронили столько наших товарищей, видели смерть каждого и знали, где их могилы. Но что случилось с тобой? И что я напишу твоей матери, если мне посчастливится выбраться к своим? Был бы ты здесь, не оказалось бы у меня стольких тревог, при тебе не стал бы плести невесть что этот выродок. Наверняка прикусил бы язык, потому что ты не стерпел бы такого, а у меня уже нет сил с ним и спорить...»

Блищинский еще некоторое время посидел, потом встал на ноги, слегка пригнувшись, обошел скирду, оглядывая окрестности. Немцы на бугре сновали, как растревоженные муравьи, сзади по дороге неслись автомобили в сторону фронта. В снежном просторе стало еще светлее, но небо сплошь укрывали серые тучи: дул холодный, на-

пористый ветер. Вернувшись на прежнее место, Гришка сел, уперся спиной в солому, поджав под себя ноги, и успокоился. Притерпевшись к боли в руке, Тимошкин закрыл глаза,— в голове пьяно все закружилось, поплыло и как-то сразу затихло...

Он задремал, сам того не заметив, будто провалился в бездну. Правда, спать, кажется, пришлось недолго. Постоянно жившее в нем ощущение опасности вскоре разбудило его. Тимошкин испуганно встрепенулся, озабоченный тем, как бы чего не случилось, и открыл глаза.

Возле скирды было по-прежнему тихо, только скулил да шуршал соломою ветер. Блищинский зябко корчился рядом, уткнув лицо в колени. Поле вокруг лежало пустое, по дороге ползли автомобили, а на пригорке все еще копошились немцы. Во всю гуляла поземка, снеговые змеи расползались по ровной поверхности, вылизывая, зачищая снежный покров. От оставленной бочки со штампованной на дне надписью «Wehrmacht» вытянулся изогнутый хребет сугроба. В нем, занесенная снегом, исчезла лошадиная шея, только черные клочья гривы трепетно бились на ветру, будто сохранив еще какие-то остатки жизни.

Не то чтобы Тимошкин отдохнул, но спать больше не отважился, потому что надо было смотреть, как бы не попасть в положение еще худшее. Блищинский спал, то и дело вздрагивая,— изнервничался и, видно, впервые по-настоящему почувствовал крушение своих далеко идущих расчетов. Все, говорил он, шло у него так, как хотелось, а тут вот сорвалось.

Надо же было дойти до такой наглости, думал

Тимошкин, чтобы полезть даже в партию. Тимошкин всегда считал, что таким, как Блищинский, не место и в комсомоле, что для этого у него нечистые руки и грязная совесть, а он вот — на тебе — добыл рекомендации в партию. И первым рекомендует писаря его непосредственный командир, начальник артиллерии майор Андреев.

Тимошкин мучительно думал, стараясь понять, как все это могло случиться, и тогда в памяти всплыл один давнишний поступок Гришки, который когда-то неприятно поразил его. Это случилось еще в обороне, в Молдавии. Как-то попав в штаб, Тимошкин решил навестить своего земляка-писаря. Блищинский, должно быть, возвращался с хутора, и Тимошкин встретил его между штабных землянок с пилоткой, полной абрикосов. На Гришку, конечно, набросились штабные ребята — коноводы, шоферы, писари, но он, громко хохоча, отбился от всех и, пробежав мимо земляка, ловко нырнул со своей пилоткой в блиндаж майора Андреева. Сквозь завешенную палаткой дверь Тимошкин услышал, как майор сначала неловко отказывался, а потом так же неловко благодарил писаря за угощение. Вскоре Блищинский вышел оттуда, довольно улыбаясь, вытряхнул опустевшую пилотку и хитро подмигнул земляку. На передовой бывали перебои в снабжении продовольствием, Гришка знал это, но, как и всех, обошел Тимошкина, неся свой подарок майору. Видно, это было не в первый раз, и, конечно, человеческое сердце — не камень. Блищинский умел лисой подползти к человеку и показать себя совсем не таким, каким был на самом деле. Доказательство тому — вот эта рекомендация.

Тимошкин прикрыл шинелью колени, глубже спрятал в воротник подбородок и сказал себе: ладно, черт с ним. Поживем, что будет дальше — увидим. Хотелось не думать об этом, забыться, выбросить земляка из головы, но мысли о нем настойчиво будоражили сознание.

И гляди-ка ты, собрался на офицерские курсы! Конечно, расчет тонкий: через несколько месяцев, наверно, война окончится, он это время потолкается где-нибудь в тылу, будет учиться. Он уже теперь обдумывал, как устроится после войны (в том, что выживет, он был уверен), у него все рассчитано на много лет вперед, спланировано, обдумано. А Тимошкину с Щербаком хотелось только одного — дожить до конца войны. Только бы одолеть фашизм, дожидаться победы, увидеть хотя бы один мирный день без огня и крови, и больше, кажется, ничего бы не нужно было. Они согласны были бы на любую работу, на самое скромное место в жизни, им всюду был бы желанный рай после того ада, который они пережили на фронте.

Болела и ныла от холода раненая рука, коченели ноги в закаменевших на морозе сапогах; ветер насквозь пронизывал запорошенную снегом шинель. Кругом по-прежнему стлалась поземка, в скирде от холода попискивали мыши. Но парень уже привык к стуже, голоду и боли, поднял воротник, сидел и думал. Тишина и этот вот Блищинский разворошили в нем думы-мечты о такой далекой, казалось недосыгаемой, послевоенной жизни.

Странно все-таки устроен человек. Их жизнь почти висела на волоске, кругом рыскал враг, нелегко было дожить до вечера, они не знали, как

пробиться к своим, а мысли забегали далеко вперед — в то заветное время, когда уже не будет войны. И знал ведь он, что сегодня каждую минуту их могла настичь смерть, но все равно думал: будет же когда-нибудь — и, видно, уже скоро — конец войны, придет победа и настанет иная, непохожая на эту, обычная человеческая жизнь. Хотелось уже теперь осмыслить ее, понять, что нужно ему от той жизни и какой он представляет ее для людей и для себя.

Чудесные это, наверное, будут времена, думал Тимошкин. Люди станут между собой как братья, исчезнет себялюбие, заносчивость, жадность. За годы невероятных лишений они научились ценить простое человеческое счастье, подчинять свои устремления единой цели, в личном довольствоваться малым. Все же таких, как Блищинский, немного, а миллионы фронтовиков познали на войне священные узы братства — то чудесное и светлое, что приобретали они, не растрачивая, в это лихолетье. Все это светлое, чистое надо сохранить, сбегать на долгие годы, не дать людям забыть о нем, не позволить его опоганить таким вот трутням войны, как Блищинский.

Будущее представлялось Тимошкину смутно. Если удастся выжить, то, возможно, он будет учиться. Конечно, придется работать, но где и кем — он не знал еще и думал, что, в конце концов, это не так уж и важно. Найдется где-нибудь кусок хлеба, будет рядом товарищ, спокойствие мирного дня — разве этого мало для счастья?

Правда, может случиться — и это очень возможно, — что рядом окажется Блищинский. Но это

не страшно. Рано или поздно люди увидят, каков он, поймут и разоблачат его; сейчас же ругаться с ним у Тимошкина не было никакого желаяния. Противное это дело — ругаться с человеком, да еще с земляком, доносить на него или даже выступать против него на собраниях, тем более что многие могут и не поверить сказанному. Стоит ли так беспокоиться из-за одного выродка, если вокруг столько хороших ребят? Так думал Тимошкин, немного отдохнув и успокоившись.

Еще он думал, что после такой суровой борьбы за жизнь на земле все, и плохое и хорошее в людях, определится и встанет на свое место; раскусят люди и Блищинского. И это уже не зависит ни от его, ни от чьих-либо еще усилий — время и правда возьмут свое, и каждый предстанет перед другими во всей своей истинной сущности.

Глава шестая

Усталый, он совсем замерз и, кажется, опять уснул.

Неизвестно, сколько продолжался этот сон, но боец вдруг почувствовал, словно кто-то трясет его за плечо, — он вздрогнул и увидел над собой Блищинского. Писарь что-то кричал, но Тимошкин, не понимая, видел только, как беззвучно шевелятся его тонкие губы, тревожно раздуваются ноздри и в округлившись, пожелтевших глазах леденеет страх. — Тимошкин, идут!.. Слышь, идут!.. Сюда...

Боец рванулся с соломы, но все еще не мог сообщить, что произошло и что ему надо делать. Потом

поднялся на онемевшие застывшие ноги, схватил автомат и всмотрелся в снежное поле, куда указывал рукой сержант.

По их утреннему следу шел человек.

Он был еще далеко, и Тимошкин не мог узнать, кто это: свой, немец или, может, мадьяр, ясно только, что направляется он именно к этой скирде. Хорошо, что Блищинский вовремя проснулся и заметил его. Видно было по всему: писарь испугался и лихорадочно шарит глазами по полю. Но податься некуда. Впереди и по сторонам носились по дороге автомобили, на пригорке уже окопались и ждали чего-то немцы. Правда, они находились сравнительно далеко и, наверно, не очень-то оглядывались на свой тыл. Очевидно, все их внимание сейчас направлено в сторону фронта.

Человек подходил все ближе. Блищинский прижался к скирде; дрожа от холода, Тимошкин присел рядом, и они всматривались, стараясь узнать, кто это. И тогда стало видно, что человек идет тяжело, как пьяный, шатаясь из стороны в сторону, по временам останавливается. Потом им показалось, что он несет на себе что-то большое и тяжелое — и это заставляет его так неровно ступать и сгибаться.

Они долго и пристально вглядывались в пешехода. Было очень холодно. Вокруг мела поземка, ветер трепал солому в скирде, свистел, трубно гудел в бочку, то и дело бешено врываясь под их застрешек. Офицерская шинель Блищинского искрилась, осыпанная блестящей серебристой пылью. Внутри у Тимошкина, кажется, насквозь все промерзло и болезненно, томительно ныло. Спросенок он плохо

соображал, но вдруг какое-то непонятное, подспудное чувство охватило его,— он рванулся от скирды, встал. Почудилось — четко, обнадеживающе, радостно,— что это Иван Щербак. Еще не многое можно было рассмотреть в человеке — ничего характерного в осанке, в одежде, а уже хлынула в душу радость: конец одиночеству, теперь они будут вместе. С трудом преодолевая усталость, Тимошкин вскочил и, стоя у скирды, настойчиво твердил себе: это он, Иван, и с ним, наверное, раненый Здобудька.

— Блищинский! — крикнул он земляку — Это Щербак!

Писарь вздрогнул, притих, нахмурился, подумал и осторожно заметил, всматриваясь в даль:

— Откуда он возьмется?! Это кто-то другой.

— Чудак, посмотри: в ватнике и высокий! И идет гляди как — вразвалку, Здобудьку, нашего ездового, несет. Разве нет?

Блищинский еще с минуту всматривался в далекую, грузно ступавшую фигуру, а затем выругался:

— Вот дурак! Какого черта прется сюда! Не было другой дороги, что ли?

— А куда же ему идти! — удивился Тимошкин. — Видит скирду, вот и идет.

— Видит! А того не понимает, что нас выдаст. Еще немцев за собой приведет.

Иван подошел ближе, и Тимошкин уже отчетливо видел и узнавал его короткий с оттопыренными карманами ватник, сильные широкне плечи, на которых лежала какая-то ноша; на груди болтался автомат.

Блищинский тревожным взглядом снова окинул горизонт, но, кажется, никто не следил за ними. Тогда он поставил на предохранитель ППШ и сказал:

— Не мог где-нибудь подождать до ночи. Надо было переться на виду у немцев... И ты это вот что, Тимошкин... Хочешь спастись — держись меня. Понимаешь? Не слушай его. В конце концов, я командир, а не он. Я сержант, понимаешь? А он рядовой.

— Ну, это уж дудки, — сказал воспрянувший духом Тимошкин.

— Как это дудки?

— А так.

Блищинский бросил на него быстрый оценивающий взгляд и умолк; что-то скрытое и злое мелькнуло на его почерневшем от холода, заросшем щетиной лице. Потом он сунул руку за пазуху, достал фляжку, поболтал, но там, кажется, было пусто, и он швырнул ее в бочку. Со звоном ударившись о железо, фляжка отскочила на снег.

— Ну что ж! — сказал Гришка. — Пропадешь — пеняй на себя.

Он явно злился, но Тимошкину было наплевать на его злость. Иван подошел уже совсем близко, он грузно ступал под тяжестью своей ноши, сильно согнувшись под ней. Потом взглянул вперед, заметил стоящих под скирдой, остановился и, видимо узнав, зашагал быстрее. Тимошкин был вне себя от радости, что жив его лучший друг и что они теперь будут вместе, только...

Только кого это он тащит на себе в сизой офицерской шинели? Нет, это не Здобудька! У Здо-

будьки обычная солдатская шинель, а у этого нестриженная голова, ветер треплет его светлые волосы, и длинные ноги в сапогах свисают почти до снега.

И тут Тимошкин взглянул на своего земляка. Тот, очевидно, тоже рассмотрел эту необычную ношу и насторожился, тревожно прищутив близоручие глазки. Пальцы его рук нервно забегали по груди, будто отыскивая что-то, нащупали ремень сумки и вцепились в него.

Гонимый предчувствием чего-то скверного, Тимошкин не устоял на месте и бросился через сугроб к Ивану. Разбрасывая сапогами снег, он бежал к нему, все время всматриваясь в лицо друга, наконец встретился с ним глазами и ужаснулся. Страшно было видеть, каким стал Иван! Наверное, от усталости, грязи и пота, который заливал его щеки, лицо, оно казалось диким, а глаза светились каким-то безумным, злым блеском. Радость встречи от этого взгляда сразу омрачилась. Тимошкин понял, что друга настигла беда.

Не промолвив ни слова, боец подхватил за ноги человека и, так помогая другу, побрел по снегу к скирде. Добравшись до застрешка, Щербак вместе с ношей боком свалился на солому, а Тимошкин присел рядом и впервые взглянул на неподвижное лицо того, кого он помогал нести.

В окровавленной сизой шинели тихо стонал на соломе бледный, непохожий на себя майор Андреев.

На несколько секунд Тимошкин, кажется, онемел, пораженный тем, что увидел, потом поднял взгляд на Блищинского. Его земляк, прислонясь к скирде, испуганно глядел на майора и кусал губы.

Но вскоре, видимо совладав с собой, он с деланной радостью оживился, опустился на колени перед раненым и залепетал по-бабьи быстро и неискренне:

— Товарищ майор! Товарищ майор! Вы живы?

Тогда рядом тяжело задвигался Щербак. Медленно, с трудом преодолевая усталость, он приподнялся на руках, потом на коленях, привстал на одну ногу, на вторую... Его гневное, почерневшее лицо стало еще более страшным — он не спеша поднимался, не сводя с Блищинского взгляда, полного угрозы и ненависти. Тимошкина же он не замечал вовсе, будто его и не было здесь. Чувствуя, что произошло непоправимое, и не понимая, в чем дело, боец виновато стоял рядом.

А Щербак встал на ноги и, сверля взглядом Блищинского, покрасневшей рукой нащупал рукоятку автомата.

— Скидай шинель, волчья душа! — простуженно закричал он на Блищинского. Тот, пошатнувшись, отскочил от майора, потом, поняв, вскинул перед лицом руки с тонкими дрожащими пальцами и заговорил, противно и жалобно:

— Что ты! Что ты?.. Клянусь!..

— Клянешься? Ах ты подлюга, предательская морда!!! Клянешься!.. А майора кто бросил? Кто свою шкуру спасал? Нет, не выйдет, сволочь! Раздевайся!

Он вскинул автомат на Блищинского, но писарь обеими руками тотчас схватился за ствол и, изо всех сил отводя его в сторону, залепетал:

— Стой! Опомнись! За что? За что? Разберись! Что ты?!

Несколько долгих секунд они неуклюже боролась. Тимошкин сжался, съежился рядом в ожидании страшной развязки и внутренне желая, чтобы она свершилась скорей. Но Щербак, видимо, ослабел, а писарь слишком хорошо знал, что ему грозит, и боролся со всем упорством. Тяжело дыша, он взглянул на Тимошкина и вскрикнул:

— Володя! Браток! За что?

В этом «за что?» прозвучало такое отчаяние, что прежняя решимость в Тимошкине дрогнула и он шагнул к Щербаку:

— Ладно! Брось его! Вон немцы.

Щербак на мгновение оглянулся и, сильно толкнув Блищинского, выдернул из его рук ствол автомата. Писарь пошатнулся, но не упал и, очевидно уловив короткое замешательство наводчика, подавил испуг, закричав другим, полным возмущения голосом:

— За что стрелять? В кого стрелять? Разберись, пойми! За что губишь?! Своего человека губишь!!

То ли этот возмущенный крик, то ли слова Тимошкина удержали Щербака от расправы, только он, тяжело дыша, опустил автомат.

— Ах ты собака! — дрожа от гнева, хрипел Иван. — Еще возмущается. Посмотри вон! — показал он на неподвижно лежащего на соломе майора. — Вот что ты наделал, гад! Ну погоди! От меня не уйдешь. Я тебя из-под земли достану! Заруби себе на носу!

— Выйдем — пойдешь в трибунал, — сказал Тимошкин. — Я тебе не защитник, не думай.

— Да что вы? Что вы на меня напали? Я его целый километр тащил. Но ведь он умер! Понял?

Умер... Я думал. Потому и оставил. Как же нести? Немцы кругом. Сами же знаете, люди вы или нет?

— Мы вот тебе покажем — «люди»! Дай только выбраться отсюда! — грозил Щербак.

Блищинский, однако, понял, что самая страшная опасность уже миновала, и даже попытался усмехнуться, наверно, чтобы уверить Щербака в своей невиновности.

Иван, помедлив, поставил на предохранитель автомат и, повернувшись к писарю, захрипел:

— Своего командира, своего начальника раненого бросить! Вот же сволочь, вот негодяй! А что теперь? — Он опустил глаза на майора. — Руки отморожены, ноги, наверно, тоже. Ну что теперь сделаешь?

Тимошкин, присев на колени, склонился к майору — сизая шинель раненого на плечах и груди была в бурых смерзшихся пятнах, побелевшее лицо казалось совсем неподвижным, только под глазом нервно дергалась едва заметная жилка. Майор давно, видно, потерял сознание и тихо стонал во время коротких и частых вздохов.

— Теперь ты его понесешь, волчья душа, — сурово сказал Щербак. — Отсюда и до конца.

Потом вдвоем с Тимошкиным они подтащили Андреева глубже в застрешек, Блищинский услужливо расправил солому, помог укрыть ею ноги майора. Лицо у писаря все еще было настороженным, но во взгляде постепенно появлялась хитроватая уверенность. Щербак гневно и озабоченно хмурился.

— У него вдобавок еще и рука прострелена, крови много вытекло. Смотри, что делается! Как бы что плохое не приключилось. Совсем отморожена.

Рука действительно была неестественно белая и распухшая, таким же безжизненно бледным выглядело и лицо. Страшно было Тимошкину видеть в таком состоянии недавнего своего командира и горько сознавать, что теперь он уже не тот, одно присутствие которого придавало артиллеристам уверенность в бою. Теперь он был слабее ребенка. Но им не нужна была его сила — они хотели только, чтобы он очнулся, заговорил, увидел, в какую беду попали они, и что-нибудь посоветовал.

Щербак какое-то время устало сидел, сдвинув брови, и о чем-то напряженно думал. Почувствовав, что друг несколько отошел в своем гневе и немного передохнул, Тимошкин спросил:

— Здобудьку не нашел?

— Нашел. Убит, прямо в затылок, — сказал Щербак. — Потом я забрел на кукурузное поле. И вот майора подобрал. Этот гад его бросил. Майор сам сказал. Когда еще в сознании был.

— Кабы я знал, а то смотрю — умолк, ну, думаю, умер, — с фальшивой горечью отозвался Блищинский. Он стоял, прислонившись плечом к скирде и, казалось, с неподдельным сожалением глядел на майора. Странно, как быстро исчез у него страх перед бешеной яростью Щербака, теперь он делал вид, будто все произошло по недоразумению. Щербак смерил его угрожающим взглядом:

— Ты молчи... Вот выйдем — я с тобой посчитаюсь. Без пощады! Не думай, что отбойрился.

Они помолчали. Щербак впервые оглядел все вокруг — снежное поле, виноградники, деревья, хутор, разрытый немцами пригорок вдали.

— Пройти не пробовали?

— Как пройдешь: немцы кругом.

— А я еле дорогу перешел. С утра сидел. Хорошо, что на лесок напал...— говорил он, несколько успокоившись. И вдруг спохватился: — Надо майора спасать. Тепло ему нужно. Может, операцию какую. Иначе погибнет.

— Конечно. Не очень-то в соломе согреешься,— вставил Блищинский. Он держался теперь независимо, только где-то в глубине глаз еще таился страх. Щербак ничего не ответил ему.

— Как же это ты нес его такую даль? — спросил Тимошкин.

— Знаешь, не раз уже думал: упаду, издохну. Но тащил. Как же бросать? Свой человек.

Он опять помолчал и уже спокойнее спросил Тимошкина:

— Курить, конечно, нечего?

— Нету, братка.

— Плохо... А я вот у Здобудьки бумаги взял.— Щербак вытянул ногу, вынул из кармана потертую пачку документов.— На, ты же грамотей — отпишешь. Как выйдем.

Тимошкин взял из его рук завернутую в бумажку красноармейскую книжку, какие-то справки, потертые, помятые листки. Один листок развернул: это было письмо — неровно написанные карандашом строки родным, куда-нибудь за Волынь или Буковину. «Отсылать или уже не надо?» — подумал боец и пробежал глазами первые слова на украинском языке: «Пишу вам усим — жинци та братовий Олени, брату Опанасу и усим родичам, шчо я попал до артиллерии, воюємо Гитлера из пушки. Мэнэ

хотілы назначить до коней, та я витказався — як це я буду в обози, коли у мэнэ свий рохунок с Гитлером за Мыколу. Воюемо мы хорошо, хлопци в нашому расчете сміли, командир Скваришев тэж справедливий и видважний, а ще и хороший. По мэнэ не горюйте, а шчо трапится, то дарма не загину, а покажу цим фрицюкам. Чоботи мои Петро нехай видасть куму, штоб підбив подошви, вони ще мицни, немецького виробу. А за работу, коли приеду після війни, в боргу не останусь. А ще сходи к голови сільради, нехай по оций справци зменьшить тобі плату, як красноармейской родини...»

Тимошкин прочитал письмо, и ему показалось, словно он заглянул в душу этого медлительного, нерасторопного солдата. Должно быть, ездовой был способен на большее, чем то, что успел сделать за короткий свой срок на войне. Боец пожалел даже, что до сих пор как-то мало замечал этого всегда молчаливого невзрачного человека.

Щербак, привстав на коленях, осматривал местность. Немцы на пригорке не спеша возились в развороченной земле, мимо них по дороге пробегали в сторону фронта автомобили. Небо медленно прояснялось, хотя большая часть его еще была затянута тучами. Дул студень, пронизывающий ветер.

В это время застонал в соломе майор. По всему видно было, что в нем догорали последние остатки жизни, и Тимошкин подумал: как нелепо после того, что случилось, дать ему погибнуть тут, за несколько, может, часов до спасения. Видно, то же самое встревожило и Щербака. Наводчик устало поднялся, всмотрелся в снежную даль, и взгляд

его упал на хуторок из трех домиков, одиноко уютившийся в дальнем конце посадки.

— В хуторе не видели, немцев нет? — спросил Иван.

— Кто их знает, может, и есть.

— Да нет там никого, — отозвался Блищинский.

Непререкаемая уверенность писаря разозлила Тимошкина.

— А ты ходил туда, что ли? — неприязненно спросил он.

— Не ходил, зато наблюдал весь день. Понимаешь?

Щербак недоверчиво посмотрел на Блищинского, потом на Тимошкина и взял с соломы автомат.

— Я схожу. Может, перенесем майора туда.

— Ваня, стой! — вскочил Тимошкин. — А если там немцы?

— Пусть ходит, — тихо, но твердо сказал Блищинский. — Чего бояться?

— Ваня, не ходи! — запротестовал Тимошкин.

Но разве можно было разубедить Щербака? Таков уж был этот человек, что если загорался чем-либо, то непременно добивался своего.

— Я быстро. Ты погляди тут, — сказал он, поправил шапку и пошел. У Тимошкина что-то больно перевернулось в груди.

— Почему на других выезжаешь? — закричал он на писаря. — Почему сам не сходишь? Опять за чужую спину прячешься!

Они опять остались вдвоем, и опять Блищинский становился прежним — злобно-нагловатым по отношению к Тимошкину. Ничего не отвечая, он поволчы, исподлобья поглядел на земляка и начал

удобнее устраиваться в соломе. Только окончательно усевшись, многозначительно заметил:

— А клина от пушки у него все же нет...

Тимошкин сначала не понял, а потом, догадавшись, о чем он, удивленно взглянул на сержанта. Тот спокойно, со скрытой угрозой выдержал его взгляд.

— Ну и что? — с ненавистью спросил Тимошкин.

— А ничего. Так. Для памяти.

Что-то он затаил в себе против Щербака, но Тимошкина это уже не интересовало. Его охватила тревога. Он сам не знал почему, но все в нем протестовало против этой вылазки на хутор. Вообще-то опасность там была невелика, немцы находились довольно далеко и в одиноком человеке в поле могли не узнать противника. Но инстинктивно Тимошкин чувствовал, что это шаг к их новой беде. И он притих, подавленный этим предчувствием, умолк и, привстав на коленях, долго смотрел вслед другу.

А Щербак обошел бочку, заснеженный труп лошади и уверенно, споро зашагал в сторону хутора.

Глава седьмая

Вверху немного прояснилось. Тучи сползли с небосклона, оставив за собой редкую белесую дымку, которая словно туманной вуалью затянула низкое холодное солнце. Победенное зимней стихией, оно маленьким желтым пятном беспомощно повисело над горизонтом и медленно пошло на закат.

На всем необъятном просторе, от края до края равнины, мела, гуляла поземка. Неутомимый труженик ветер гнал и гнал куда-то растрепанные космы снега, ровнял, выдувал, по-своему обряжал землю. В немом отчаянии трепетали редкие стебли бурьяна на межах, ветер рвал солому из скирды, подхватив вороха снежной пыли, сердито бросал ее под застрешек. Майор лежал в забытьи. Блищинский прижался к соломе, зарыл в нее ноги, спрятал в рукавах руки и так сидел — молчаливый и унылый. Тимошкин же, забыв о своей неутихающей боли, не чувствуя одубевших ног, стоял на коленях и неотрывно следил за Иваном.

Щербак, чуть опустив правое, с автоматом, плечо, все дальше и дальше уходил от скирды. Ветер вырывал из-под его сапог снежные пряди и расстилал их в поле; сзади тянулась кривая цепочка еле заметных ямок-следов. Тимошкин жадно всматривался в каждый шаг Щербака, в каждое его движение — тяжелое предчувствие камнем давило на сердце. Казалось, вот-вот загремят выстрелы, разорвется мина, и он навсегда потеряет своего последнего и самого верного друга.

Но пока было тихо — ни выстрела, ни звука, только скулил и гудел вокруг ветер. Одно ухо Ивановой шапки прикрывало щеку, а второе оттопырилось в сторону, и тесемка от ветра тревожно металась по плечу. Постепенно, однако, его фигура уменьшилась, и вскоре очертания ее совсем сгладились.

Щербак дошел до молодого лесочка и вдоль него повернул в сторону хутора. Идти там, видимо, было легче, наводчик ускорил шаг и, все отдаляясь,

приближался к цели. Тимошкин внимательно всматривался в даль, глаза от напряжения и ветра заплывали слезами. «Хоть бы как-нибудь, хоть бы как-нибудь!..» — билось в его сознании, и всей силой своей измученной души он жаждал, чтобы ничего не случилось.

Невдалеке от хутора, наверно, попался овражек, Иван вошел в него, на минуту скрылся, затем снова появился уже на той стороне.

И вот он у самого хутора. От болезненного напряжения Тимошкина охватила дрожь, однако он, как и прежде, смотрел, слушал, стыл на ветру, желая одного — удачи товарищу. Но, казалось, беда миновала. Иван быстро приближался к крайнему дому: ни возле него, ни под соседним строением ничего живого или подозрительного, кажется, не было. Вскоре он прошел вдоль длинной кирпичной стены, обошел какой-то чернеющий в снегу выступ и исчез во дворе.

Было по-прежнему тихо. Озябший Тимошкин немного ослабил свое напряжение и вздохнул. «Может, как-нибудь?..» — появилась в нем робкая надежда. Он прислонился спиной к соломе, прикрыл шинелью колени и, посматривая на хутор, ждал.

На какой-то миг боязнь за жизнь друга, страстное желание помочь в беде невольно ослабли, и за это он потом готов был проклинать себя. Может, тем самым он лишил Ивана какой-то поддержки, и тот раньше, чем следовало, утратил осторожность. Боец не знал, как это случилось, — может, даже моргнул в то время, — только увидел вдруг, что прямо по снежному полю с хутора, спасаясь, бежит человек.

Сначала Тимошкину показалось, что это кто-то другой, не Щербак, на секунду он растерялся, не понимая, что произошло, но тотчас на хуторе часто и глухо затрещал автомат.

Немцы выпустили по бегущему длинную очередь. Иван оглянулся и бросился в сторону, потом в другую,— хитрил, чтобы не попасть под пули. У Тимошкина похолодело все внутри, потом горячей волной плеснул в душу испуг. Рядом встревоженно вскочил Блищинский, но боец даже не взглянул на него — его пронизала мысль, что Иван погибнет.

Дальнейшее произошло невероятно быстро и страшно. Два или три автомата с хутора били прерывистыми короткими очередями. Иван упал, перевернулся, выстрелил в ответ, вскочил, побежал и упал снова.

Неудержимое желание помочь другу, спасти его от гибели охватило Тимошкина. Он бросился в поле,— ноги пробили тугой снежный сугроб, вегер из-за скирды резко рванул полы шинели. И тогда сзади испуганно закричал писарь:

— Стой! Куда? Сдурел? Куда тебя несет? Опомнись!

Тимошкин торопливо и зло оглянулся на Блищинского, который горбился под застрешком, и когда снова, на бегу нашел взглядом Ивана, тот лежал на снегу в нескольких шагах от овражка и, кажется, больше не двигался.

У Тимошкина подкосились ноги. Споткнувшись, он глотнул что-то нестерпимо горькое, что подкатило к горлу, и с дикой яростью бросился под застрешек.

— А ты что!!! — закричал он на писаря. — Опять ловчишь? Вперед, сволочь! Слышишь? Вперед! — Боец кричал и еще что-то, но побелевший Блищинский, сгорбившись, будто окаменел в выемке, бессмысленно глядел на него. Тимошкин спешил и весь дрожал, потрясенный новой бедой, а писарь жался и жался к скирде, боясь выйти на снег. Тогда Тимошкин рванул рукоятку автомата.

— Гад!! Застрелю!!!

Он терял над собой власть, мог бы и убить земляка, и тот, должно быть, понял его. В коричневых глазах писаря шевельнулся испуг, тонкие губы дрогнули, и он, опасливо поглядывая на бойца, несмело ступил от скирды.

— Ну чего ты? Ошалел, что ли? — недоуменно ворчал писарь, но все же зарысил в поле.

— Бегом!!! — кричал Тимошкин и, подхватив под руку автомат, побежал за ним, полный твердой решимости убить Блищинского, если тот не подчинится. В нем будто прорвалась накопленная за годы ненависть к подлой натуре этого человека, к тому же он понимал, что один, с больной рукой не сможет, если понадобится, вынести Ивана. И Блищинский бежал, разинув от усталости рот и с опаской поглядывая то в сторону хутора, то искоса на земляка. Тимошкин же не смотрел вперед: он знал, что их там ожидает, и под дулом автомата гнал туда писаря. Он боялся, как бы немцы раньше их не подбежали к Ивану. Но выстрелы утихли; кажется, никто с хутора так и не показался в поле. Иван с трудом ворочался вдали и, уже не вставая больше, медленно полз к овражку.

Скоро они добрались до молодых посадок.

Тут была межа — узкая, с сухим бурьяном, колюче торчащим из снега между тонкими деревцами акаций. Блищинский, устав, побежал медленнее и наконец перешел на шаг. Тимошкин строго прикрикнул на него — Гришка послушался и снова неохотно зарылся вперед. Он тяжело дышал, сумка болталась у него на боку, и писарь то и дело отбрасывал ее назад. Кажется, он превозмог страх и молчал, обретая свой прежний хмурый, сердитый вид.

Иван полз. Уже стало видно, как тяжело волочил он по снегу свое тело, оставляя позади широкую борозду — след. Тимошкин изредка прикрикивал на Блищинского, чтобы тот не отставал, и сам бежал, выбиваясь из последних сил.

Они приближались к Ивану. Неглубокий заснеженный овражек был совсем близко, на другой его стороне лежал Щербак. И вдруг с хутора снова простучала длинная очередь. Тоненькая, как птичья лапка, веточка, сбитая пулей, упала с дерева, ветер подхватил ее и быстро погнал по полю. Гришка, проворно перескочив между, распластался на другой ее стороне. Тимошкин пригнулся и, не желая оставлять писаря, лег у самой межи. В воздухе коротко и злобно посвистывали пули, кусочек мерзлой коры с ближнего деревца отскочил в снег, и ствол его заблестел белым пятном.

— Ползком! — крикнул Тимошкин Блищинскому, шапка которого торчала из-за межи. — Ползком, слышишь?

Очередь снова стеганула по голым ветвям деревьев, опять несколько веток подхватил на лету ветер. Неуклюже орудуя одной рукой, Тимошкин

пополз боком, волоча за собой автомат. Блицинский пошевелился и тут же притих. У Тимошкина уже несколько остыла ярость, с которой он поначалу набросился на писаря, и теперь, опасаясь за Ивана, он начал тревожиться, как бы не случилось чего и с Блицинским.

— Ну что? Давай быстрее!

Гришка высунул из-за межи голову и сквозь ветер с отчаянием заговорил:

— Слушай, Володя! Что ты делаешь? Они же сейчас перебьют нас. Куда ты суешься? Может, он убит уже, зачем мы ползем? Кто он тебе, брат или начальство, что ты на рожон лезешь? Давай назад! Мы же свои люди. А он... Давай вернемся.

Тимошкин не ожидал этого. Он думал, что там, у скирды, сержант осознал подлость своего поведения и, если побежал, значит, понял, что иначе поступить нельзя. Но, видимо, ничего он не понял. Уговаривая вернуться, писарь уже поворачивал назад, медленно отползал, укрываясь от пуль за межой. Снова у Тимошкина закипела злость к этому человеку — было ясно, что погнать его вперед можно, только угрожая оружием.

Подхватив автомат, он перескочил между и растянулся на снегу рядом с Блицинским. Тот настороженными, полными испуга глазами взглянул на бойца, но не увидел того, что хотел увидеть.

— Вперед! — скрипнув зубами, приказал Тимошкин и одной рукой, как пистолет, наставил на него автомат. — Вперед! — От злости его голос сорвался на крик.

Блицинский медленно отвел от бойца унылый взгляд, что-то проворчал и, неуклюже вихляя за-

дом, пополз вдоль межи. Тимошкин, задыхаясь от снежного вихря, поднятого телом писаря, полз следом. Ползти было тяжело и неловко, хотелось вскочить и бежать, но он не хотел рисковать, тем более что под пулями гнать вперед Блищинского, видно, не удалось бы. И боец изо всех сил старался не отставать от сержанта и, если тот останавливался, автоматом толкал в подошвы его валенок. Писарь, не оглядываясь, понимал, что от него требуется, и неохотно двигался дальше.

Наконец они добрались до овражка. Пока они ползли вдоль межи, Тимошкин не мог видеть Ивана. Теперь он взглянул на друга — тот тоже добрался до оврага и обессиленно шевелился на противоположном его склоне. Рядом с бойцом, вдавленный в снег, лежал автомат.

Блищинский еще полз, весь вываленный в снег, а Тимошкин уже не мог удержаться — вскочил и сбежал в овражек. Немцы, кажется, тут не видели их и перестали стрелять. Снег в овражке был глубокий, ноги проваливались в него до самых колен. Опираясь на автомат, Тимошкин вскарабкался по отлогому склону и, тяжело дыша, подбежал к Ивану.

— Зачем же ты шел, Ваня? — еле переводя дыхание, просипел он.

Щербак хотел приподняться, но только стиснул зубы и, преодолевая боль, тихо сказал:

— Ладно, ничего. Перевяжи как-нибудь...

Одной рукой он прикоснулся к бедру — на ватных штанах возле кармана темнело мокрое пятно, и из рваной дыры торчал окровавленный клок ваты.

Хлопоча возле друга, Тимошкин неосторожно высунулся из овражка, и с хутора снова затрещала очередь. Несколько пуль, ударившись в голый, вылизанный ветром бугор, землей и снегом брызнули в лица бойцов. Тимошкин сплюнул и, пригибаясь, непослушной окоченевшей рукой расстегивал одежду Ивана. Он очень спешил, стараясь сладить с тугими петлями, и его сердце бешено колотилось в груди.

— Блищинский, быстрее! — крикнул Тимошкин писарю, который неуклюже и явно не торопясь выбирался из сугроба в овражке. Наконец он опасливо взобрался на склон.

— Рви рубашку! — крикнул Тимошкин.

Блищинский недоуменно замигал острыми глазами, не понимая, что от него требуется, и тогда Тимошкин, выругавшись, со злостью объяснил ему. Сержант положил автомат, дрожащими руками вытянул из-под шинели край своей нижней рубашки, с треском отодрал от нее полосу снизу. Склонившись над Щербаком, они начали перевязывать его окровавленное бедро. Крови было много, она сочилась и сочилась из раны, заливая одежду, и Тимошкин подумал тогда, что все это добром для них не кончится.

Они перевязали наводчика, хоть и не совсем удачно, так как спешили и очень мерзли руки. Иван, видимо, сильно страдал, но терпел, сжав зубы и затаив в глубине своих всегда серьезных глаз боль и тревогу. Почерневшее, заросшее рыжей щетиной лицо Блищинского было искажено страхом, уголки его губ при виде крови брезгливо морщились.

Надо было спастись, и теперь спасение Тимошкин видел там, у скирды. Они подхватили Щербак — под мышки и за ноги — и осторожно спустились в овражек. Иван застонал, лицо его вдруг побледнело, но он все же умолк, видимо приготовившись терпеливо выдержать все испытания.

Ступая в глубокие, еще свежие свои следы, они перетаскивали его на противоположную сторону, — дальше надо было ползти.

Глава восьмая

Это был нескончаемо долгий путь, он отнял у них последние силы.

Неизвестно, сколько времени они ползли, но, когда добрались до скирды, зимнее солнце уже сошло с небосвода. Сквозь разорванные тучи, как подтаявшая льдинка, блестел краешек месяца, а они, мокрые от холодного пота, лежали возле скирды и хрипло, обессиленно дышали. Щербак, видимо, очень страдал. Лицо его сильно осунулось, стало серым, глаза запали, он прикрыл их посиневшими веками и тихо стонал. Тимошкин вытянулся рядом, не в силах уже ползти под застрешек; не мог он сладить и с бешено бьющимся сердцем. В натруженной, раненой руке со сползшим бинтом что-то нестерпимо дергало, словно нарывало. Измороженный Блищинский сидел под скирдой и тупо глядел на хутор. Они совершенно не знали, что делать дальше...

В тот момент, когда от усталости мутилось в глазах и все на свете казалось далеким и безраз-

личным, послышался испуганный голос Блищинского:

— Немцы!!!

Это было самое страшное. Но уже столько было перенесено за последние дни, столько выстрадано, что эта страшная весть не испугом, а только щемящей тоской отозвалась в сердце. Тимошкин повернулся и, пересиливая в себе слабость, сел на снег. Со стороны хутора, вдоль посадки, наверное по их свежим следам, один за другим шли немцы.

Блищинский с неожиданной ловкостью подхватил автомат и спрятался за скирдой. В снегу завожился Щербак. Он приподнялся на руках, прикусил губу и всмотрелся в потемневший простор.

— Володя, за скирду! — страдальчески морщась, сказал он, и Тимошкин почувствовал, что выбора уже не осталось и им предстоит только одно — драться.

Кое-как поднявшись, он подал здоровую руку Ивану и помог ему заползти за скирду.

Но, говорят, беда не приходит одна. Не успели они добраться к застрешку, как новая тревога охватила Тимошкина. В засыпанной снегом соломе очень уж отчужденно и безжизненно желтело лицо Андреева. Тимошкин бросился к майору, встряхнул его за плечо, но ни одним движением, ни одним знаком тот не отозвался. Тогда, вырывая пуговицы, Тимошкин расстегнул его шинель, припал ухом к широкой остывшей груди и, не веря себе, понял, что жизнь уже покинула этого человека. Дрогнувшим голосом он сказал об этом Щербак.

Немцы между тем быстро приближались, — всего их было двенадцать. Один почему-то отстал, пригнулся, покопался в снегу, потом бегом догнал передних. Сбоку от них, за хутором, кажется безразличное ко всему в этом поле, заходило красное, холодное солнце. Ветер постепенно утихал, и поземка к ночи унималась. Щербак прижался к соломе, все больше бледнея, и, видимо, чтобы сдерживать стон, крепко сжимал челюсти. У Блищинского нервно дрожал подбородок, он притих и растерянным взглядом шарил по сторонам.

Надо было готовиться к бою. Щербак, обернувшись, раздраженно прикрикнул:

— Ну, что сбились? Тимошкин — под коня!.. Ты, писарь, на ту сторону. И не спешить!

Блищинский, пригнувшись, молча шмыгнул за скирду. Тимошкин вышел из-под скирды и начал пристраиваться в снегу, возле конского трупа. Щербак, лежа на соломе, взял автомат.

— Эх, черт!.. Закурить бы! — тихо проговорил он.

Как всегда в минуту приближения опасности, ему хотелось курить. Обычно в такой момент Тимошкин свертывал сигарку, прикуривал и совал ее в зубы товарищу, и тот, не отрываясь от прицела, наводил пушку по пехоте или танкам. Теперь же курева у них не было, и Щербак с досадой выругался.

Они замерли и ждали. Шансов выйти живыми из этого боя у них было мало. Немцы вряд ли будут рваться к скирде, но огня жалеть не будут, в этом все трое были уверены. Плохо еще, что так

мало было патронов — всего по диску на автомат. Однако другого выхода у них не было. Немцы уже повернули от посадки и, охватывая скирду подковой, начали расходиться по полю. Они еще не стреляли, но, видимо, чувствовали, что предстоит схватка, и, подходя к скирде, взяли оружие на изготовку.

— Подпустим ближе? — сказал Тимошкин.

Щербак кивнул головой. Говорить ему было трудно, он казался совсем измученным. У Тимошкина заскребло на душе.

Стало темнеть. В небе над хутором расплылась лимонная желтизна с багряной полосой у самой земли. Синеватые сумерки быстро закрывали даль, на зимнюю равнину опускалась ночь. На снегу, однако, хорошо были видны фигуры всех двенадцати немцев, хотя лица их уже скрадывали сумерки. В середине цепь была реже, а на флангах заметно сгущалась, — наверно, крайние, побаивались и невольно жались к остальным.

И вот, не замедляя шага, кто-то из них дал первую автоматную очередь. В бочке возле скирды гулко звякнула пуля; срикошетив, она сыпнула снегом, и Тимошкин придвинулся ближе к заснеженному трупу лошади. В десяти шагах от него, сжав автомат, лежал Иван. Ветер вихрил над ним перемешанную с мякиной снежную пыль.

Немцы ударили из автоматов. Очереди гулко затрещали в вечерней тишине, пули беспощадно секли скирду. Соломенная труха густо запорошила с подветренной стороны нетронутый снежный наст. Тимошкин прижался головой к лошадиному брюху

и напряженно ждал, когда хоть немного ослабеет этот первый огневой напор.

Но он ослабел не скоро. И только когда немцы, по-видимому расстреляв первые магазины, начали менять их, стало несколько тише. Тимошкин схватился за автомат — гитлеровцы были совсем близко, длинной изогнутой цепью они охватывали скирду. Одни бежали, другие торопливо шагали с подоткнутыми под ремни полами шинелей в касках или зимних, с длинными козырьками шапках. Тимошкин взглянул на Ивана, — полный терпеливого ожидания, тот лежал под скирдой.

— Рус, сдавайсь! — донесся с поля далекий, чужой, враждебный голос. Сразу же закричали и другие, и с полминуты еще слышалось:

— Рус, сдавайсь!

— Еван!.. Капут!

— Рус капут! Сдавайсь!

Кто знает почему, не так их огонь, как эти злобные выкрики ледящей тоской захлестнули сердце Тимошкина. Ему показалось, что уже нет выхода, что спастись невозможно, и остается только или умереть, или сдать в плен. Но ведь сколько они уже насмотрелись и наслышались о плене, — он был для бойцов хуже самой мучительной смерти.

И тогда, чтобы разом пресечь отчаяние в себе, Тимошкин, не очень целясь, длинно полоснул по цепи. Потом, уперев магазин в замерзшую лошадиную лопатку, выпустил несколько коротких и частых очередей. Немцы встрепнулись, кто-то рванулся вперед, некоторые попадали в снег, и снова в сплошной трескотне захлебнулись их автоматы.

И все-таки уничтожить бойцов было не так-то легко. Скирда и небольшие сугробы снега перед ней неплохо защищали от прицельного огня. Немцы же были видны как на ладони, ни один из них не мог где-либо укрыться, и если бы ребята имели больше патронов, то, возможно, им удалось бы отбиться.

Но патронов было ничтожно мало для долгого боя, и через некоторое время Тимошкин испугался, подумав, что магазин вот-вот опустеет. Щербак перестал стрелять еще раньше. Немцы тоже заметно притихли, только каких-нибудь два автомата с их стороны беспорядочно сыпали пулями — в снег, в скирду, в воздух над ними. Запахло дымом. Горело где-то в застрешке, в котором они недавно укрывались, и ветер стлал по земле горький удушливый дым. В этом дыму, кашляя, заворошился Щербак.

— Володька! — позвал он. — Где писарь?

Тимошкин приподнял голову и прислушался, но за скирдой ничего не было слышно — ни движения, ни выстрелов, — кажется, там что-то случилось. У Щербака, видимо, уже поостыла первая злость, и он забеспокоился.

— Ползи туда. Может, ранили, — морщась от боли, сказал он.

Скирда густо дымила, но огня еще не было. Немцы лежали в поле. Двое из них, наверное раненые, покинув цепь, потянулись к посадке.

Прихватив автомат, Тимошкин пополз за скирдой. Тут было несколько тише, и можно было приподняться. В это время что-то дернуло на голове его шапку, Тимошкин оглянулся, сорвал ее с голо-

вы — из двух свежих дыр торчала вата. Он снова надвинул ее и пополз дальше.

Но где же Блищинский? Тимошкин заполз за скирду, куда полчаса назад отправился Гришка, огляделся по сторонам, однако нигде не увидел его. Некоторое время он растерянно оглядывался по сторонам, не зная, что и подумать. Но вот совсем близко от скирды он заметил следы. Широкие шаги человека в немецких, подшитых кожей валенках терялись в ближних кустах винограда-ника.

Вот оно что!

Мгновенно все стало ясным. Тимошкин даже застонал от бессильной ярости. Как это он недосмотрел? Как не предвидел? Почему он не приполз сюда минутой раньше? Если бы хоть издали заметил, как удирал этот гад, то, не глядя на Ивана и на огонь гитлеровцев, бросился бы догонять его. Но он опоздал, и Блищинского уже не было видно.

За несколько коротких минут, пока Тимошкин лежал здесь под пулями, вереница горестных мыслей пронеслась в его голове.

«Подлый, ничтожный человек! Почему я не застрелил его? Почему терпел все то подлое, что было в писаре, не желая с ним связываться, и все думал, что люди со временем сами разоблачат его?»

Обида и боль сжимали сердце бойца от сознания того, что Блищинский так вероломно обманул их и тем обрек на смерть. А теперь он спасется, выживет, дождется светлого дня и клещом вопьется в новую, послевоенную жизнь. На его груди

будут висеть боевые медали, в карманах будут лежать документы, которые дадут ему права на привилегии, он будет проповедовать то, во что сам не верит. Будет делать карьеру.

Распластавшись на снегу, Тимошкин страстно жаждал отомстить Блищинскому. Правда, он не знал еще, что сделал бы с писарем: может, застрелил бы его, а может, только избил, ибо — он понимал — жаловаться по закону на этого выродка было не за что. Разве он выполнял с ними боевую задачу или изменил Родине? Он бессовестно бросил их тут, как вчера бросил майора, но он вынесет к своим его сумку с неизвестно какими бумагами, припишет себе какое-нибудь геройство, да еще наклеветает на них, оставивших пушку. Худшего невозможно было себе представить. Все в Тимошкине горело ненавистью, и он поклялся, если только выживет, во что бы то ни стало найти писаря и разоблачить его.

Скирда дымилась, ветер неистово раздувал в ее чреве огромный невидимый пожар. Дым слепил глаза и до кашля раздирал горло.

Ошеломленный новой бедой, Тимошкин вернулся к Ивану.

Щербак повернул к нему хмурое, землистое лицо:

— Ну что?

— Сбежал! — упавшим голосом ответил боец. — Сбежал через виноградник.

Иван не удивился и не испугался, а снова крепко, до белых пятен на щеках, сжал челюсти и напряженно посмотрел вдаль.

— Подлюга! Теперь нам конец!

Тимошкин лег за снежным сугробом и пустил в поле несколько коротких, скупых очередей. Немцы по одному перебегали, приближаясь к скирде; их автоматы то и дело потрескивали в морозном воздухе, и пули с трех сторон злобно стригли солону.

Теперь конец — это точно, подумал Тимошкин, потому что без патронов недолго продержишься. Возможно, их сожгут, если не убьют раньше, чем разгорится эта скирда, или возьмут в плен и там уничтожат. Значит, конец! Вот как обернулась прежняя его нерешительность, терпимость, нежелание ссориться с Блищинским. Теперь наступает расплата...

Но они были молоды и очень хотели жить. Жить, чтобы дождаться мира, тихих радостных дней, изведать свое скромное человеческое счастье. И еще Тимошкину очень горько было погибать потому, что он выпустил в ту заветную жизнь Блищинского. Ненависть удвоила в парне неумную жажду жизни. Раненый и измученный, еще полча-са назад не имевший сил шевельнуться на снегу, он вдруг вскочил на ноги и прохрипел:

— Берись за шею!

— Что ты надумал?

Щербак не понял, удивился, недоуменно взглянул на него, а затем с внезапной надеждой поднял к его плечам свои руки. Тимошкин присел, подставил другу спину, — большие покрасневшие пальцы Ивана цепко сомкнулись на его груди. Тимошкин напрягся, неимоверным усилием поднял товарища и ступил в снег — под автоматный огонь и дым от скирды.

Глава девятая

«Еще пять шагов... Еще три... Еще немножко... Еще один!» — стучало в его голове. Он совсем изнемог, ноги его заплетались, но он шел. Не раз падал на снег. Руки Ивана под его подбородком тогда расцеплялись, он скатывался с плеч, и Тимошкин судорожно хватал ртом воздух.

Несколько минут он лежал пластом, припав щекой к снежному насту, и обессиленно слушал, как Иван, подняв автомат, лязгал затвором. Немцы все еще преследовали бойцов и, чтобы как-нибудь задержать их, Иван в перерыве, наскоро прицелясь, стрелял.

Но они все больше слабели. Удлинялись их остановки, все меньше оставалось сил, и таяла надежда спастись. Иван раскрыл диск, пересчитал патроны. Тимошкин молчаливо отсчитывал его выстрелы: это десятый, — значит, у них осталось всего шесть патронов.

Шесть последних патронов — шесть коротких попыток отстоять жизнь.

Хорошо еще, что на землю спустилась ночь. В густой синеве неба роями мерцали звезды, кругом было просторно и пусто, но где-то в этом просторе их подстерегала смерть. Куда бежать и где искать спасения, они не знали и тащились по виноградику в ту сторону, куда их гнали немцы.

А где-то совсем недалеко гремел бой и отчетливо слышались взрывы. Лежа в снегу, Тимошкин хорошо различал знакомое сдвоенное «трах-бах» — это стреляли танки. Ощущение близости своих под-

бодрило его. Поддерживая себя на руках, он подставил спину Ивану, и тот опять сцепил на его шее свои холодные кисти. Шатаясь, боец поднял страшно тяжелое тело друга, и в ту же секунду ночную даль коротенькой низкой молнией прорезали трассирующие пули. Они мелькнули и пропали. С трудом удерживаясь на ногах, Тимошкин вгляделся в ночь и увидел впереди стремительный блеск. Это было где-то далеко, казалось, на самом горизонте. Внезапная надежда прибавила сил, и он, пригнувшись чуть ли не до самой земли, широко зашагал между кустов. Иван все время молчал за спиной, ноги его, кажется, волоклись по снегу; сжав зубы, он сдерживал в себе стон.

На этот раз Тимошкин одолел не менее тридцати шагов. Тридцать широких шагов к своим, навстречу спасению. Потом упал коленями в снег и, опираясь на руки, всмотрелся в даль.

Там что-то загорелось. Еще раз-другой мелькнули и пропали трассирующие пули, донеслось глухое «трах-бах», и стало видно, как затрепетала, загорелась, замигала на ветру маленькая красная искорка далекого пламени.

Иван тоже приподнялся на локте, увидел огонь и сказал то, от чего у Тимошкина больно защемило в груди:

— Тридцатьчетверка наша.

Да, это горела тридцатьчетверка. Они уже много раз видели, как горят разные танки, и издали, не столько по очертаниям, сколько по огню, могли распознать их. Неизвестно почему, но тридцатьчетверки всегда вспыхивали, как факел, и горели ярким и дружным пламенем. С горечью на

сердце бойцы некоторое время всматривались в этот далекий огонек — свежую могилу неизвестных, но до боли родных людей.

— Рус, сдавайсь! — снова закричали немцы, и из темноты прогремела очередь. Пули стеганули по кустам, визгливо срикошетили в темноте. Немцы, кажется, подошли совсем близко и, конечно, давно бы расстреляли обоих, если бы не скрывавший их виноградник.

Иван приподнял ППШ и выстрелил. В ответ прогремело несколько очередей, и хлопцы увидели огонек при выстрелах из автоматов. Это было не дальше чем в двухстах метрах.

Надо было уходить, но Тимошкин медлил, чувствуя, что силы у него иссякли. Поднять Щербака и бежать он уже не мог, а другого выхода у них не было. Иван понял это, они распозлились в стороны, чтобы не лежать вместе, притаились под кустами виноградной лозы, притихли.

Кажется, наступал конец.

Потеряв их из виду, немцы наугад постреляли по винограднику и умолкли, ожидая, видимо, пока они покажутся снова. Жадно глотая воздух, Тимошкин лежал под густым кустом и ждал выстрелов друга. Он боялся потерять их счет.

В этот момент сдавленным шепотом заговорил Щербак.

— Тимошкин, — тихо позвал он, — ползи!

Парень ждал этих слов и боялся их, зная, что спасения уже не будет.

— Ползи! Я останусь, — сдерживая стон, говорил Щербак.

Тимошкин улыбнулся: «Чудак человек! Разве так можно?»

— Нет, Ваня, не могу.

Щербак помолчал немного, а потом с внезапной напѣской злостью начал его гнать:

— Иди, пока не поздно! Ну! Ползи! Слышишь? Потом я...

Он хотел обмануть друга ради его спасения, ценой своей жизни, ибо куда он мог уползти с такой раной?!

— Не пойду, — упрямо сказал Тимошкин.

Возможно, кто-то из них шевельнулся, а может, немцы услышали голоса, только снова совсем рядом ударила очередь. Тимошкин ткнулся подбродком в снег, а Иван тихонько, коротко, но очень тревожно ойкнул.

Недобрая догадка мелькнула в сознании Тимошкина.

— Ваня!!!

— Уходи, — ослабевшим голосом сказал Щербак. — Ползи... Я все...

Привстав на колени, Тимошкин подался к другу, но не дополз каких-нибудь двух шагов, как Иван ткнул в висок автоматом и выстрелил.

Тимошкин чуть не вскрикнул в отчаянии, вскочил на ноги и, уже не прячась, метнулся к товарищу. Иван лежал неподвижно, обмякший, снег возле его головы был мелко обрызган кровью.

Тотчас в винограднике затрещали автоматы, снег между кустов взрыли пули, но Тимошкину уже не было страшно. Он повернул Щербака на спину, потом одной рукой обхватил его лобастую

голову и одубевшей своей ладонью попытался зажать висок, из которого лилась горячая липкая кровь. Не сразу сообразил он, что его последний в этой беде товарищ, его лучший фронтовой друг был уже мертв...

Когда совсем рядом в винограднике мелькнуло несколько темных согнутых фигур, он вырвал из остывших рук Щербака его ППШ и выстрелил — раз, второй, третий. Кажется, его выстрелы кого-то настигли — кто-то там вскрикнул, и тотчас несколько очередей яростно прошлись по винограднику. Тимошкин с минуту прижимался к холодеющему телу друга, а потом, поняв наконец все, бросился прочь.

Теперь ему не оставалось ничего больше, как только спасти себя, и он на руках и коленях карабкался по снегу меж виноградных кустов, полз, потом вскочил и побежал. Сзади трещали очереди, пули, или, может, кусты хлестали по полам его шинели, — боец падал, потом, отдышавшись, опять вскакивал и бежал, бежал...

Через некоторое время немцы перестали стрелять и уже не преследовали его. Возможно, они нашли мертвое тело Ивана и остановились. Тогда он пошел медленнее, зацепился за что-то, упал и долго бесчувственно лежал на жгучем морозном снегу.

Потом, сообразив, что пришло спасение, он сел и огляделся. Вокруг было тихо, над ним дремала зимняя ночь и сновали в вышине зеленые, белые, синие звезды. Одна из них, будто упав с неба, красным огоньком ярко блестела на горизонте, и он вспомнил, что это догорает танк. Обрадовавшись

его призывному знакомому блеску, Тимошкин под-
нялся.

Затем он не спеша шел — один во всем этом широком ночном просторе — и плакал. Давно уже, наверное с детства, не душили его такие жгучие слезы — от безмерной утраты, от одиночества, от горькой боли военной неудачи, от подлой измены Блищинского. Он понимал, что победить этого негодяя будет нелегко, но только бы дойти до своих! С упрямой решимостью жаждал Тимошкин кары ему — ради отмщения и во имя справедливости. Отчаяние и гнев сжимали его горло, когда он вспоминал Скварышева, Кеклидзе, Щербака и множество других славных ребят, что, засыпанные снегом, навеки остались на широких просторах венгерских равнин.

Сквозь слезы он ничего не видел вокруг, кроме далекого огня, который тихо мерцал на чьей-то безвременной железной могиле.

Огонь и вел его в темноте ночи — от гибели к жизни, туда, к своим.



**Альпийская
баллада**

Он сразу упал, споткнувшись, потом вскочил, поняв, что надо бежать, пока вокруг замешательство, — нужно где-то укрыться, исчезнуть, а то и прорваться с завода. Но в вихревых потоках пыли, поглотившей цех, почти ничего не было видно, он чуть не угодил в черную пропасть воронки, где взорвалась бомба, по краю обежал яму — от ребят никакого следа. Чтобы в пыли не наткнуться на что-нибудь, вытянул вперед руку, в другой наготове сжал пистолет, сиганул через огромную, вывороченную взрывом бетонную глыбу, больно ударившись о нее голенью. Вскочил уже босой, растеряв колодки; ногам стало невыносимо больно на искореженной взрывом земле.

Сзади уже слышались крики, в другом конце цеха гулко раздалась автоматная очередь. «Черта с два!» — сказал он себе, одним махом перескочил через рухнувшую с перекрытий железную ферму, взобрался на сильно покосившийся простенок. Пыль постепенно рассеивалась, оседала, но еще надежно прикрывала его. Иван взбежал на самый верх простенка, отсюда уже хорошо стали видны окрестности, его обдало ветром, который тут быстро разгонял пыль; по наклонному бетонному брусу, балансируя, чтобы не упасть, руками, он выбежал на край обвала. Впереди в трех шагах оказалась полуразрушенная стена внешней ограды, а дальше за ней, будто ничего в целом мире не произошло, утопали в зелени улицы, пламенели черепичные крыши, и совсем близко вверху, на скло-

не, — рукой подать — зеленел лес и Альпы — его надежда, его жизнь или смерть.

В одно мгновение он охватил все это взглядом, сунул в зубы пластмассовую рукоять пистолета и прыгнул. Острые железные шипы в гребне ограды требовали точного расчета, он схватился за них руками и рывком перекинул тело на другую сторону. Падать, однако, помедлил, на вытянутых руках опустился пониже и лишь тогда оторвался. Упал в жесткий прошлогодний бурьян, тут же вскочил, перехватил в руку пистолет и изо всех сил рванулся по картофельному участку вдоль ограды из колючей проволоки.

Сзади стреляли и кричали, где-то залаяли собаки — это было самое худшее, но думать, менять что-либо уже не приходилось. Несколько пуль взвизгнули в небе довольно высоко над головой, и он на бегу почувствовал: это не в него, — по всей вероятности, его еще не заметили. Раздирая пальцы на босых ногах, перебрался через колючую проволоку и по шлаковой дорожке еще быстрее устремился дальше, вверх, к близкой уже окраине.

Взрыв в цехе встревожил население. По дорожке от белого домика во всю прыть мчались в сторону завода два малыша. Старший, что был впереди, размахивал игрушечным ружьем. За кустарником дети не заметили его, и Иван быстро прошмыгнул дальше. Тотчас же из-за кустов акации на него чуть не наскочила девушка с лейкой, от испуга она вскрикнула и выпустила ее из рук. Он промчался мимо, коротеньким проулком выбежал на немощеную окраинную улицу, глянул в одну

сторону, в другую, — улица была пуста. Иван перебежал ее, пробрался сквозь пыльные заросли насаждений и упал. Впереди уже не было домов, на огромном крутом косогоре спокойно лежал некошенный луг, густо усеянный ромашкой, у дороги дремотно качались метелки какой-то неизвестной ему травы; дальше и выше в распадках начинался лес, а над ним в знойном июньском небе теснились сизые громады Альп.

Сдерживая дыхание, Иван прислушался: сзади доносились крики и выстрелы, заливались овчарки, но это там, на заводе, — за ним же, кажется, еще не гнались. Рукавом полосатой куртки он смахнул с лица пот, заливавший глаза, и приподнялся, прикидывая путь вверх. Невдалеке был распадок, ближе других подступавший к городу, туда по крутому склону сбегали сверху редкие елочки. И он вскочил на ноги.

Это оказалось невероятно трудным — бежать все время в гору; тело становилось чрезмерно грузным, а ноги от слабости то и дело подкашивались. На середине косогора он снова оглянулся — собачий лай, кажется, уже доносился с окраины, полоснула близкая очередь, но пуль он не услышал, — значит, еще не по нему. По другим! Видно, там разбегались узники, это облегчало его положение, надо было бежать, бежать...

Но он выбивался из сил и с трудом одолевал пригорок. Сзади как на ладони был виден весь городок, переднюю часть которого занимали длинные, похожие на ангары корпуса завода, там и сям чернели развалины — свежие следы бомбежки; длинная ограда в одном месте рухнула, за

проломом дыбились искореженные фермы перекрытий — это от их бомбы. Там бегали, суетились люди. Иван пригнулся (его уже начал скрывать пригорок) и вяло побежал к ручью, возле которого наконец с облегчением распрямылся. Лес стоял рядом, на склоне.

Он замедлил бег, вытер рукавами лицо. Дальше путь пролегал по дну широкого травянистого распадка. Подъем становился круче, меж черных скользких камней шумно бурлил ручей. Вконец измороженный Иван уже достиг первых, разбросанных по склону елочек, когда услышал сзади собак. Показалось — они за пригорком, рядом, и он, опять выбиваясь из сил, побежал в гору. Хоть бы успеть добраться до хвойной чащи, там легче укрыться, как-нибудь обмануть преследователей или, если уж не суждено вырваться, погибнуть не зря.

Но добежать до леса Иван не успел.

Он взбирался по траве вверх, минуя большие и малые обломки скал с рассыпанной повсюду дресвой, и почти уже достиг еловой опушки, но тут сзади, будто вынырнув из-за пригорка, раздался близкий разъяренный лай. Иван кинулся к молодой елочке, затаившись, выглянул сквозь ветви — через бугор, мелькая в траве бурой спиной, по его следам мчалась овчарка; где-то за ней заливалась лаем вторая. Немцев, однако, пока не было видно.

Тогда он понял, что до чащи ему не добраться, шире расставил ноги и крепче сжал в кулаке пистолет. Он не знал, сколько в магазине было патронов, интересоваться этим теперь было поздно, хотя и понимал, что в патронах — его спасение.

На минуту он расслабил мускулы, стараясь дышать ровнее, — надо было успокоиться, собраться с силами, унять в груди сердце, чтоб ударить без промаха.

Собака увидела его, залилась громче, злее и, попарно выбрасывая сложенные лапы, поскакала вверх: Стоя за елью, Иван пригнулся, взглядом отмерил рубеж в каких-нибудь полсотне шагов возле каменного выступа в траве и направил туда пистолет. Овчарка стремительно приближалась, прижав к голове уши, вытянув хвост; уже стала видна ее раскрытая пасть с высунутым языком и хищным оскалом клыков. Иван затаил дыхание, напрягся, стараясь как можно лучше прицеливаться, и, подпустив ее к каменному выступу, выстрелил. И сразу же понял, что промазал. Пистолет дернулся в руке стволом вверх, в нос ударило пороховым смрадом, овчарка завизжала сильнее, и он, не целясь, наугад поспешно выстрелил еще. Тотчас короткая радость блеснула в душе — собака отчаянно взвизгнула, взвилась, со всего маху ударилась оземь и в каких-нибудь двадцати шагах от него задергалась, забилась в траве. Он уже готов был кинуться в лес, но тут увидел другую овчарку — огромный, с рыжими подпалинами на боках волкодав, широко выбрасывая сильные лапы, задыхаясь, мчался по следу первой. За ним, петляя в траве, тянулся длинный ременный поводок.

Иван все же опоздал; не целясь, торопливо ткнул навстречу ему пистолетом, но выстрела не последовало, — очевидно, что-то заело. Он дернул пистолет на себя, ударил по затвору ладонью,

однако волкодав был уже рядом и, басовито рывкнув, прыгнул. Иван увернулся, юркнул за ель, волкодав, задев ветки, пронесся мимо, но, казалось, не долетев до земли, перевернулся и тут же с раскрытой пастью кинулся на него. Иван, не зная, как защититься, вскинул навстречу руки.

Это был чудовищно сильный прыжок. Пистолет выпал из его руки, Иван не устоял на ногах, и оба, человек и собака, покатались по склону. Казалось, все скоро кончится, но Иван, падая, успел схватить волкодава за ошейник и железным напряжением рук оттолкнул его. Собака сильно цапнула когтями, на нем с треском разорвалась штанина. Иван, одной рукой сжимая ошейник, другой ухватил переднюю собачью лапу и подломил ее, они еще раз перекатились друг через друга. Потом, чтобы удержаться сверху, Иван выбросил в сторону ноги, подмял волкодава под себя и, навалившись всем телом, начал душить. Волкодав удушливо сипел, отчаянно рвался из-под него, и Иван почувствовал, что долго так не выдержит. Тогда, изловчившись, последним усилием он перекинул собаку через себя и ударил ее коленом в ребра. Та резко дернулась, чуть не вырвав из руки ошейник, коротко взвизгнула, но — почувствовал Иван — под коленом его будто что хрустнуло; собака, задыхаясь, взвыла; обдирая на пальцах кожу, Иван ту же закрутил ошейник. Однако волкодав отчаянно рванулся и выскользнул из рук.

Иван сжался в ожидании нового прыжка, но собака не прыгнула — она распласталась рядом и, вытянув толстую морду с выброшенным набок языком, часто и сипло дыша, злобно смотрела на

человека. Натертые ошейником, жгуче горели ладони, от перенапряжения нервно трепетала мышца в предплечье, чуть не выскакивало сердце из груди. Положив на траву дрожащие руки, Иван почти дикими глазами глядел на собаку.

Они следили друг за другом, боясь упустить первую попытку к прыжку. К тому же Иван боялся, как бы не появились немцы. Но через минуту он понял, что волкодав вряд ли бросится на него. Тогда он нерешительно поднялся на ноги, не сводя зоркого взгляда с волкодава, и, отступив в сторону, схватил большой камень. Он хотел им ударить собаку, но тут же раздумал. Волкодав судорожно выгнул хребет, ударил по земле хвостом, казалось, сейчас он прыгнет, но пес не прыгнул. Видно, ему досталось не меньше, чем человеку, и он беспомощно заскулил. Иван настороженно ступил назад еще раз, волкодав приподнялся, тоже немного подвинулся, поводок его скользнул по траве. Но он не бежал, даже не вскакивал. Иван еще больше осмелел и бросился вверх к ели, где уронил пистолет.

Собака завизжала от бессильной ярости, немного проползла по траве и остановилась. А человек поднял с травы пистолет и медленно, задыхаясь, насколько позволял остаток сил, заспешил по распадку вверх, в еловую чащу.

2

Минут через пять он уже был в лесу и бежал вдоль стремительного, с необыкновенно прозрачной водой ручья. На склоне стоял чистый, не за-

хламленный валежником лес, бежать, однако, мешали камни. Все круче становился подъем. Опасаясь новой погони, Иван сунулся было в ручей, чтоб скрыть от овчарок след, но вода ледяным холодом обдала ноги, и он, пробежав шагов двадцать, опять выскочил на берег. Вскарabкался на скалистую кручу, дернул затвор, перезаряжая пистолет; на камни выпал перекошенный патрон. Иван нагнулся, чтобы поднять его, и вдруг замер: сквозь говорливое журчание ручья сзади донесли голоса. Оставив патрон, он торопливо подался вверх, чуть в сторону от ручья, пролез сквозь чащу елового молодняка и, еле справляясь с дыханием, опустился на четвереньки.

Сначала ему показалось, что вокруг стоит тишина, только в отдалении журчит ручей да шумят вершины елей — это подул фён, и в небо из-за гор выплыл косматый край тучи, — видимо, надвигался дождь. Иван осмотрелся по сторонам, окинул взглядом камни под елями — внизу как будто никого не было. Он уже хотел вскочить на ноги и побежать, как вдруг до его слуха долетел слегка приглушенный, настойчивый оклик:

— Руссо!

Он пригнулся ниже, вобрал голову в плечи — нет, то был не немец, скорее какой-нибудь гефтинг-итальянец. Но тут хоть бы самому выбраться. Он знал по собственному опыту, как это трудно, где уж там вести с собой какого-то доходягу. Немцы наверняка уже подняли тревогу и догоняют, — не так это просто — удрать.

И он изо всех сил побежал дальше, карабкаясь меж камней и елей вверх и в сторону, наискось по

горному лесистому склону, так как лезть прямо уже не хватало сил. Ручей остался где-то в стороне, говор его притих; сильнее и отчетливее стали шуметь ели — свежий ветер настойчиво раскачивал вершины; солнце скрылось, помрачневшее небо все шире заволакивала темная туча. Было душно, куртка на спине промокла от пота, полосатый берет он потерял при взрыве и лицо вытирал руками, все время поглядывая по сторонам и внимательно вслушиваясь. Один раз он услышал далекий еще, но стремительно нараставший рев мотоциклов, тут где-то проходила дорога, и немцы, по-видимому, уже послали погоню. Охваченный унылым предчувствием, Иван напряженно обдумывал, как быть дальше, и в то же время по какому-то неясному звуку почувствовал, что сзади кто-то бежит. Отскочив за мшистый ствол елки, он щелкнул предохранителем пистолета. Треск мотоциклов приблизился. Обкладывают, сволочи! Иван оглянулся, опустился за елью на одно колено и приподнял сжатый в кулаке пистолет. Внизу снова раздался приглушенный стук по камням, он всмотрелся и уже отчетливо определил в зарослях место, где был человек. Вначале там никто не показывался. Потом закачались ветки, и на прогалину из ельника выскочила легкая полосатая фигурка, остановилась, метнула взглядом по склону и заметила его за елью.

— Руссо!

Женщина?! Это его так удивило, что он чуть не выругался с досады, и только приближающийся рев мотоциклов сразу переключил его внимание — они были уже рядом. Иван крутнулся на земле, не

зная, куда податься, — меж редких стволов его тут легко могли увидеть сверху. И он прыгнул в неглубокую выемку-нишу под крутоверхой скалой, весь сжался, готовясь к отпору. Полосатая фигура внизу на минуту исчезла за краем обрыва, он теперь не смотрел туда — больше всего остерегаясь мотоциклов, напряженно слушал. Но вот внизу, в двадцати шагах, из-за камня показалась сначала голова, а затем и вся она по пояс, в длинной не по росту куртке с закатанными рукавами и красным треугольником на груди. Это была девушка, она быстро огляделась по сторонам, и он заметил, как под шапкой черных, давно не стриженных волос с нескрываемой радостью блеснули такие же черные, словно две маслины, глаза.

— Чао!

Он слышал уже это слово — так всегда здоровались гефтлинги-итальянцы. Однако теперь, вслушиваясь в треск над головой, он сжался и молчал, ожидая, что она вот-вот юркнет в какое-нибудь укрытие. Но она, кажется вовсе равнодушная к опасности, снова оглянулась и торопливо заговорила по-немецки, кого-то прогоняя от себя. Взглянув в подлесок, откуда выскочила девушка, Иван увидел за камнями человека в полосатом, который после окрика девушки послушно подался в заросли. Иван уже хотел кинуться прочь от этих непрошенных спутников, но девушка легко выскочила из-за обрыва, нагнулась, сунула ноги в колодки, которые до сих пор держала в руках, и потом, застучав ими, торопливо бросилась к нему.

Мотоциклы ревели чуть ли не над их головами, и эта ее нелепая дерзость вызвала в нем гнев —

их ведь легко могли тут заметить. Пригнувшись, Иван подскочил к девушке и за руку рванул ее под скалу. При этом он тихо, но с неуправляемой яростью выругался. Она легко метнулась за ним, как вдруг одна ее колодка сорвалась с ноги и, застучав по камням, отлетела далеко в сторону.

— Ой, клумпес! — приглушенно вскрикнула девушка.

Мотоциклисты один за другим, обдавая их грохотом, проносились совсем близко, но она, казалось не обращая на них внимания, вырвала у него руку и бросилась за своей колодкой. Иван не успел ее удержать, только стукнул кулаком по камню и заскрипел зубами. Девушка между тем, ловко подхватив колодку, побежала назад, сверкнув глазами, в которых блеснул азарт. И тогда Иван, не справившись с натянутыми нервами, со злостью ударил ее по лицу.

Удар обжег ее щеку, она коротко вскрикнула, но не отшатнулась, а упала под скалу рядом и из-под локтя кинула на него взгляд, полный не гнева, а скорее озорного удивления.

Мотоциклы — слышно было — отдалялись, и Иван уже пожалел, что не сдержался. Девушка на минуту сосредоточилась, округлила глаза, прислушалась, казалось только теперь осознав, что им угрожало, и, согнув колено в полосатой запачканной штанине, надела на ступню колодку. Потом еще раз взглянула на него и, по-детски неумело выговаривая слова, будто картавя, повторила его ругательство.

Это было так же неожиданно, как и его пощечина, и так необычно, что в нем что-то будто

сдвинулось, сместилось, — человеческое на минуту хлынуло в его заскорузлую душу, и он впервые за сегодняшний день удивленно и широко раскрыл глаза.

— Ого!

— Ого! — повторила, как бы передразнивая, она, обнаружив тем свою нарочитую обиду, и впервые с заметным любопытством оглядела его. Полные губы ее были капризно поджаты, но в глазах уже появились готовые вот-вот запрыгать живые смешинки. Казалось, он где-то уже видел их, эти непонятные глаза на смуглом, сильно исхудавшем лице, и, почувствовав что-то новое в себе, нахмурился. Обжигающая красота девушки, ее необыкновенное бесстрашие в этом их более чем сложном положении окончательно сбили его с толку.

— Ты куда бежишь? — строго спросил он, глядя на ее поджатые в колодках ноги.

— Вас?

— Вас! Вас! Куда бежишь?

— Руссо бежишь — их бежишь.

Не удержавшись, он исподлобья смерил ее злым взглядом, — все ее подвижное, с тонкими чертами лицо выражало желание понять его, густые черные брови, сросшиеся над переносьем, были высоко вскинуты.

— Ты знаешь, куда я бегу? Русланд бегу. Поймают — мне будет пуф-пуф. А тебе это, — он чиркнул себя пальцем по шее и показал вверх — красноречивый интернациональный жест лагсрников.

Она поняла, коротко улыбнулась, даже, пока-

залось сму, фыркнула: мол, что мне виселица! И эта ее безрассудность, легкомыслие опять разозлили его.

— Расхрабрилась! Ну, беги! Только без дураков. Я тебе не помощник.

— Конечно! — дружелюбно улыбнулась девушка, и Иван подумал, что она не поняла его.

Он попытался было возразить, но в это время в стороне от города опять послышались выстрелы, крики и лай собак. Видно, там кого-то ловили. «Черт с ней, этой девкой», — подумал Иван, надо было пробираться дальше, и он быстро полез по склону.

3

Небо затянула сизая туча, тревожно качались вершины елей, лес беспокойно гудел, и первые капли косыми линиями прочертили воздух между деревьев.

Иван, не сбавляя темпа, проворно лез и лез меж стволов и камней, поблескивая голым коленом, — он только теперь заметил порванную собакой штанину и кровь. Пока стоял под скалой, рана, видимо, немного подсохла, а на ходу открылась и теперь кровоточила. Сбитые о камни, кровоточили на ногах пальцы, о какую-то колючку он больно уколол пятку и стал заметно прихрамывать.

Сзади все умолкло, погони за ними еще не было слышно, но она должна была появиться. Иван знал, что немцы их не оставят в покое, — по-видимому, они уже подняли на ноги охрану,

полицию, собак. Это было очень трудно — уйти, разве что им поможет дождь, укроет, приглушит шаги, смоеет следы. Острым беспокойным взглядом Иван ощупывал местность вокруг себя сквозь редкую туманную сетку дождя, боясь наскочить на засаду. По временам он слышал за спиной торопливые шаги своей спутницы — она не отставала. Только иногда, уронив с ноги клумпес, девушка на минуту задерживалась, но потом бегом догоняла его и шла рядом. В такие моменты он слышал ее близкое частое дыхание.

Иван старался быть безразличным к ней, если бы девушка отстала совсем, он, возможно, даже вздохнул бы с облегчением, но все же, пока она была поблизости, не мог прогнать ее, чтобы уйти одному. Он только думал: и откуда ее, на беду, прибило к нему, гляди ты — вырвалась с завода, догнала, уж на что он быстро лез в гору, а вот не отстала же. Правда, он немало времени потратил на борьбу с собаками, — хорошо, что задержались, не набежали в ту минуту немцы. Дождик между тем усилился, плотнее окутал лесистые склоны теплый туман — это радовало беглеца, так легче было укрыться в лесу, подальше отойти от города.

Однако идти под дождем было не очень удобно, промокшая до нитки куртка неприятно прилипла к телу, штанины также намокли снизу, и он подвернул их, как, бывало, на сенокосе — до самых колен. Иван с удовлетворением заметил, что под дождем поблекла полосатая, заметная издали пестрота его одежды. Только вот проклятые круги-мишени, выведенные масляной краской, по-

прежнему топорщились на груди, совсем не намокли и стали еще заметнее на потемневшей куртке.

Так прошел час, а может, и больше. Продираясь сквозь мокрый молодой сосняк с натянутой меж ветвями паутиной, в которой дрожали мельчайшие капли воды, Иван вдруг увидел дорогу. Гладкая, блестящая от непогоды бетонная полоса ее плавно изгибалась на повороте и исчезала вверху. Он остановился, прислушался, — кажется, дорога была пуста. Тогда он оглянулся: девушка, нетерпеливо отстраняя от лица мокрые ветви, пробиралась к нему. Видимо, надо было подождать ее и дорогу перейти вместе, иначе она могла сделать что-то не так и выдать обоих.

Девушка подошла, устало остановилась рядом и, увидев дорогу, уже с большей осмотрительностью, чем недавно, отнеслась к опасности. Он коротко скользнул взглядом по ее мокрой куртке, которая плотно облегала гибкую и тоненькую фигурку, и снова с досадой поморщился — так все это не шло к той обстановке, в которой они оказались. Она же, видно, рада была минутной задержке, немного отдышавшись, взялась рукой за ствол сосенки, другой вылила из колодок воду и тяжело перевела дыхание.

Иван терпеливо дал ей отдышаться и потом направился к дороге. Она, притихнув, осторожно пошла сзади.

Возле дороги он снова огляделся, подбежал к забетонированному кювету, остановился, шепнул ей: «Иди сюда!» — и подал руку. Она без слов ухватила за его пальцы, глухо стукнув о бетон

деревяшками, прыгнула через кювет. Иван коротко бросил: «Снимай!», девушка догадалась, скинула клумпесы и подхватила их свободной рукой. Взявшись за руки, они выбежали на мокрые бетонные плиты дороги. Дождик сыпал часто и тотчас смывал их следы. Беглецы благополучно перебрались на другую сторону, и он выпустил ее руку. За кюветом она наколола ноги о щебенку, тихонько ойкнула, потом сунула ступни в колодки и по склону быстро полезла за ним вверх.

Склон, однако, тут был крутой, со стремнинными обрывов, поросший чахлыми кривыми сосенками, сквозь вершины которых виднелась внизу блестящая дуга дороги. Иван теперь уж не очень старался выдержать темп, устал сам, да и девушка — чувствовал он — уже на пределе своих, по-видимому не слишком больших, сил. На крутом подъеме, который он, преодолевая усталость, одолел первым, Иван остановился, наблюдая из-под развесистой суковатой сосны за тем, как карабкается вверх его спутница. Одна колодка у нее свалилась с ноги и по камням быстро покатила вниз. Она растерянно вскрикнула: «Порка мадонна»¹, оглянулась и устало села, по всей вероятности не решаясь идти за ней. Но вскоре все же полезла вниз, прихрамывая на одну ногу, подобрала колодку и снизу взглянула на Ивана. В ее взгляде мелькнула молчаливая благодарность за то, что он не ушел без нее. Он спокойно опустил на сухую колючую землю между извилистых корней, поджидая, пока девушка вылезет из-под кручи. До-

¹ «Порка мадонна» — ругательство (*итал.*).

бравшись до него, она в изнеможении упала рядом.

— Брось ты их к черту! — сказал он, имея в виду колодки.

Она вскинула на него большие черные глаза, он показал на ее клумпесы и махнул рукой — мол, брось. Она, очевидно, поняла и отрицательно покачала головой, пошевелив при этом своей маленькой, мокрой и, как показалось ему, слишком нежной стопой. Он сразу понял нелепость своего совета, так же как и то, что немало еще хлопот причинят ей эти непомерно большие деревяшки.

Но и его ноги, исколотые на камнях и валежнике, горели и саднили, особенно донимала при ходьбе левая пятка. Теперь, невольно затягивая минуту передышки, он решил посмотреть, что там, и, поджав руками ногу, взглянул на влажную стопу.

— Руссо очень, очень фурыёзо. Как это дойчу?.. Бёзе!¹ — вдруг сказала она.

Иван за год пребывания в плену немного научился по-немецки и понял, что сказала девушка, но ответил не сразу. В пятке была заноза, которую он попробовал вытащить, но, как ни старался, не мог ухватить пальцами ее крохотный кончик.

— Бёзе! Доведут, так будешь и бёзе! — сердито сказал он и добавил уже добрее: — А вообще я гут.

— Гут?

Она усмехнулась, обеими руками пригладила мокрые, блестящие волосы и, вытерев о штаны ладони, придвинулась к нему.

¹ Фурыёзо (*итал.*), бёзе (*нем.*) — сердитый, злой.

— О, дай!

Он никак не мог взяться за конец занозы, а она легонько и удивительно просто холодными тонкими руками обхватила его большую ступню, поковыряла там пальцами и, нагнув голову, зубами ущипнула подошву. Он нерешительно дернул ногу, но она удержала ее, нащупала зубами кончик, и когда выпрямилась, в ровных ее зубах торчала маленькая ворсинка занозы.

Иван не удивился и не поблагодарил, а, подтянув ногу, взглянул на пятку, потер, попробовал наступить — стало, кажется, легче. Тогда он уже с большей приязнью, чем до сих пор, посмотрел на девушку, на ее мокрое, смуглое, похорошевшее лицо. Она не отвела улыбчивого взгляда, пальцами взяла из зубов занозу и кинула ее на ветер.

— Ловкая, да, — сдержанно, будто неохотно признавая ее достоинства, сказал он.

— Лёф-ка-я, — повторила она и спросила: — Что ест лёф-ка-я?

Должно быть, впервые сегодня он внутренне улыбнулся и потерял пятерней стриженный мокрый затылок.

— Как тебе сказать? Ну, в общем гут.

— Гут?

— Я. Гут.

— Ду гут, их гут¹, — радостно сообщила она и засмеялась. А он, будто что-то припоминая или оценивая, дольше, чем прежде, посмотрел на нее. Она сразу спохватилась, зябко повела плечами, и

¹ Ты хороший, я хорошая (нем).

тогда он подумал — надо идти. Ему не хотелось вылезать из-под этой сухой развесистой сосны, и все же он вынужден был встать. Дождь не переставал, с унылым однообразием шумел лес, — видно, непогода сорвала облаву. Неизвестно, сколько узников прорвалось в горы, но, может, хоть кому-нибудь посчастливится уйти. Иван вспомнил третьего гефтлинга, который бежал за ними, и, прежде чем выйти из-под сосны, повернулся к девушке, вытряхивавшей свои колодки.

— Это кто еще бежал за тобой?

— Бежал, да? Тама? Гефтлинг. Тэдэско-гефтлинг¹.

— Что, знакомый? Товарищ?

— Нон товарищ. Кранк гефтлинг. Болной. — Тоненьким пальчиком она прикоснулась к своему виску.

— А, сумасшедший?

— Я, я.

«Гляди ты, а с ней можно договориться!» — с удовлетворением подумал Иван и отвел в сторону взгляд. Почему-то по-прежнему неловко было смотреть в ее черные, глубокие, широко раскрытые глаза, в которых так изменчиво отражались разнообразные чувства.

— Ладно. Черт с ним. Пошли.

Кажется, они порядком уже отошли от лагеря, немцы, видно, ихпустили, душевное напряжение спало, и Иван, будто издалека, впервые мысленно оглянулся на то, что произошло с ним в этот адски мучительный день.

¹ Немец-узник (итало-нем.).

С утра пятеро их, штрафников-военнопленных, в полуразрушенном во время ночной бомбежки цехе откапывали невзорвавшуюся бомбу.

Надежды остаться в живых в этом лагере смерти у пленных уже не было, и единственное, что еще беспокоило их, это желание в последний раз рискнуть, вырваться на свободу или, как говорил маленький чернявый острослов по кличке Жук, если уж оставлять этот свет, так прежде стукнуть дверями.

Небезопасная и не такая уж легкая работа их приближалась к концу.

Подвешивая бомбу ломами, они наконец освободили ее от завала и, придерживая за покореженный стабилизатор, осторожно положили на дно ямы. Дальше было самое рискованное и самое важное. Пока другие, затаив дыхание, замерли по сторонам, длиннорукий детина в полосатой, как и у всех, куртке с цветными кругами на груди и на спине, бывший черноморский моряк Голодай, накинул на взрыватель ключ и надавил на него всем телом. На его голых до локтей, мускулистых руках вздулись жилы, проступили вены на шее, и взрыватель слегка подался, Голодай еще раз два с усилием повернул ключ, а затем присел на корточки и начал быстро выкручивать взрыватель руками. Взрыватель, конечно, был неисправен и, сильно деформировавшись при ударе о землю, уже не годился для бомбы, минувшей ночью сброшенной с американского «Б-29» или английского «Москито», которые чуть не до основания разнесли этот

зажатый Альпами австрийский городок. Но при дефектном взрывателе бомба была исправная и продолжала хранить в себе пятьсот килограммов тротила, на что и рассчитывали пятеро смертников. Как только отверстие в бомбе освободилось, Жук достал из-под куртки новенький взрыватель, добытый вчера от испорченной, с отбитым стабилизатором бомбы, и худыми нервными пальцами начал ввинчивать его на место прежнего.

Парень, однако, спешил, не попадал в резьбу, железо лязгало, и Иван, чтобы кто-нибудь не набрел на них, приподнявшись, выглянул на поверхность.

Поблизости, кажется, все было тихо. Над ними свисали покореженные балки, из многочисленных проломов в крыше косо цедились на землю дымчатые лучи света, было душно и пыльно. За рядом бетонных опор посреди цеха, в освещенной солнцем пыли, с редкими возгласами и глухим гомоном шевелились, сновали десятки людей, растаскивавших завалы и убиравших хлам. Там же теперь были и эсэсманы, которые предпочитали излишне не любопытствовать, когда обезвреживались бомбы, и обычно держались поодаль.

— Ну, сволочи, теперь ждите! — тихо, еле сдерживая гнев, сказал Жук.

Голодай, выпрямляясь над бомбой, буркнул:

— Помолчи. Скажешь гоп, когда перепрыгнешь.

— Ничего, братцы, ничего! — вытирая вспотевший лоб, проговорил в углу Янушка, бывший колхозный бригадир, а теперь одноглазый гефтлинг.

По натуре он был скорее оптимистом, если только ими могли быть пленные в лагере. Не-

смотря на вытекший глаз и отбитую селезенку, он всегда и всех обнадеживал — и когда подбивал людей на побег, и когда в изодранной овчарками одежде, под конвоем, с уцелевшими пленными возвращался в лагерь.

Так высказали они свое отношение к задуманному, кроме разве Сребникова, который, непрерывно кашляя, стоял у стены, да еще Ивана. Сребников с самого начала всю эту затею воспринял без энтузиазма, так как ему мало радости принесла бы даже удача, — быстрее, чем лагерный режим и бои, его добивала чахотка. А Иван Терешка был просто молчуном и не любил зря говорить, если и без того все было ясно.

Голодай вытер ладони о полосатые штаны и взглянул на людей, — конечно, заводилой всего тут был он.

— Кто ударит?

Все на секунду притихли, опустили глаза, напряженно ощупывая ими длинный корпус бомбы с разбегающимися царапинами на зеленых боках. Сосредоточился невеселый, с седой щетиной на запавших щеках Янушка, погасла нервная решимость в быстрых глазах Жука; Сребников даже перестал кашлять и опустил вдоль плоского тела руки, взгляд его стал невыносимо скорбным. Видно было, что вопрос этот, беспокоивший их с самого начала, вызвал сейчас минутное раздумье; все молчали, мучительно каждый про себя решая самое важное.

Крупное лицо Голодая, однако, выражало нетерпение и суровую решимость поставить все точки над «и».

— Добровольцев нет? — мрачно заключил он. — Тогда потянем.

— Ага. Так лучше, — встрепенулся и подступил ближе к нему Жук.

— Что ж, потянем. По справедливости чтоб, — согласился Янушка.

Сдержанно и, кажется, с облегчением кашлянул Сребников. Терешка молча, одним ударом вогнал в землю конец ломика. Но Голодай, хлопнув себя по бедру, в сердцах выругался:

— Потянешь тут. Ни спички, ни соломины.

Нетерпеливо оглянувшись, он схватил из угла тяжелую, с длинной рукоятью кувалду.

— Значит, так. Бери выше.

И, присев, обхватил ручку у самого основания. Остальные подались к нему, нагнулись, сдвинув над кувалдой головы. Выше Голодая взялся рукой Жук, еще выше сцепились узловатые пальцы Янушки, затем ручку охватила ладонь Сребникова, за ней — широкая пятерня Терешки, потом опять Голодая, Жука, Янушки, и когда над сплетением рук остался маленький кончик черенка, его медленно коснулась дрожащая потная рука Сребникова.

Все невольно с облегчением вздохнули, поднялись и, постояв у стены, с полминуты старались не глядеть друг на друга. Голодай решительным жестом протянул кувалду тому, кто должен был с ней умереть.

— Так что по справедливости. Без обмана, — по-прежнему грубовато, но с едва заметной ноткой сочувствия сказал он.

Сребников почему-то перестал кашлять, по-

шатнулся, взял ручку кувалды, молча повернул ее в руках, попробовал переставить и опустил. Его полные неумемной тоски глаза остановились на товарищах.

— Не разобью я, — тихо, тоном обреченного сказал он. — Не осилю.

Все снова притихли. Голодай гневно сверкнул глазами на смертника.

— Ты что?!

— Не разобью. Силы уже... мало, — уныло объяснил Сребников и тяжело, надрывно закашлялся.

Голодай смотрел, смотрел на него и вдруг зло выругался.

— Ну и ну! — язвительно промолвил Жук. — Вили-вили веревочку...

— Что ж... Ясное дело, где ему разбить. Ослабел, — готов был согласиться с происшедшим Янушка.

У Терешки внутри будто перевернулось что-то — хотя он и понимал, что Сребников не притворяется, но такая неожиданность вызвала у него гнев. С минуту он тяжело, исподлобья смотрел на доходягу, что-то решая про себя. Умирать он, конечно, не очень стремился, как и все, хотел жить, трижды пытался вырваться на волю (однажды дошел почти до Житомира). И тем не менее в жизни, оказывается, бывают моменты, когда надо решиться глянуть смерти в глаза.

И он шагнул к Сребникову:

— Дай сюда.

Сребников удивленно моргнул скорбными глазами, послушно разнял пальцы. Терешка переста-

вил кувалду к себе и немного смущенно вдруг командовал:

— Ну, что стали? Берем. Чего ждать?

Суровый Голодай, нервный Жук, озабоченный Янушка с недоумением взглянули на него и, ожившись вдруг, подступили к бомбе.

— Взяли! Жук — веревку. Лаги давайте. Куда лаги девали? — с неестественной бодростью распоряжался Терешка. В поисках заранее припасенных палок он выглянул из ямы и дрогнул. Хлопцы замерли рядом, а Терешка, предчувствуя беду, медленно выпрямился во весь рост.

Невдалеке от ямы в пыльном потоке косых лучей стоял командофюрер Зандлер, он сразу увидел Ивана, их взгляды встретились, и Зандлер кивнул головой:

— Ком!

Терешка выругался про себя, отставил к стене кувалду и быстро (медлить в таком случае было нельзя) по откосу вылез на раскиданную вокруг ямы землю. Сзади, сосредоточенные, притихли, притаились хлопцы.

В пыльном, пустом с этого конца цехе (боясь взрыва бомбы, немцы повытаскивали отсюда станки) было душно, повсюду из пробитой крыши струились на пол пыльные лучи полуденного солнца. В другом, разрушенном конце этого огромного, как ангар, сооружения, где разбирала завал команда женщин из сектора «С», сновали десятки людей с носилками, по настланным на землю доскам гоняли груженные щебенкой тачки.

Зандлер стоял в проходе под рядом опор сбоку

от большого пятна света на бетонном полу и, заложив назад руки, ждал. Терешка быстро сбежал с кучи земли, деревяшки его громко простучали и стихли, — хмуря широкие русые брови, он остановился в пяти шагах от Зандлера, как раз на освещенном квадрате пола. Эсэсовец, вынеся из-за спины одну руку, пальцами дернул широкий козырек фуражки.

— Ви ист мит дер бомба?¹

— Скоро. Глейх², — сдержанно сказал Иван.

— Шнеллер хинаустрaгeн!³

Зандлер подозрительно поглядел в сторону ямы, из которой торчали настороженные головы ребят, потом испытующе — на Ивана; тот стоял по-солдатски собранный, готовый ко всему: его мишени обязывали к этому. Острым взглядом он впился в бритое, загорелое лицо немца, который был, видимо, ненамного старше, чем Иван, и полон сознания власти и достоинства. В то же время Иван настороженно следил за каждым движением его угрожающих рук. Неподалеку от них, на другой половине цеха, две женщины в полосатой одежде опустили на землю носилки и, пересиливая страх, с любопытством ждали, что будет дальше. Но немец, скользнув взглядом по плечистой фигуре гефтлинга, внешне выражавшей только готовность к действию, понял это по-своему. Ступив ближе, он протянул к нему ногу в запыленном сапоге.

¹ Ну, как там бомба?

² Скоро.

³ Быстрее выносите!

— Чистó! — спугав ударение, кивнул он на сапог.

Иван, разумеется, понял, что от него требовалось (это не было тут в новинку), но на мгновение растерялся от неожиданности (только что он подготавливался совсем к другому) и несколько секунд помедлил. Зандлер ждал с угрозой на жестком скуластом лице, дольше медлить было нельзя, и парень опустился возле его ног. Это было унижительно и оскорбляло, Иван внутренне сжался и словно коленом придавил свой непокорный, такой неуместный тут гнев.

Согнувшись, он тер сапог натянутыми рукавами куртки. Сапоги были новые, аккуратно начищенные утром, и вскоре головка первого стала ярко отражать солнце. Потом заблестели голенище и задник, только в ранту еще осталось немного пыли да на самом носке никак не затиралась свежая царапина. Командофюрер тем временем, щелкнув зажигалкой, прикурил, спрятал в карман портсигар, на Ивана дохнуло запахом сигареты — это мучительно раздражало обоняние. Затем немец, кажется, стряхнул пепел — на стриженую голову парня посыпались искры, какая-то недогоревшая соринка больно обожгла шею. Гнев все настойчивее овладевал парнем, Иван усилием воли сдерживал себя, — так хотелось вскочить, ударить, сбить с ног, растоптать этого поганца. Но он продолжал чистить, борясь с собой и стараясь как можно скорее отвязаться от немца. Тот, однако, не очень спешил, держал сапог до тех пор, пока он не заблестел от носка до колена, потом отставил его назад, чтобы подставить второй.

Иван немного выпрямился и в краткий миг этой передышки впервые взглянул мимо сапог, туда, где стояли, наблюдая за ними, несколько гефтлингов-женщин. Взглянул он бегло, почти без всякого любопытства, но вдруг что-то привлекло его внимание. Он взглянул на них еще раз, стараясь понять, в чем дело, и понял; но лучше было бы провалиться сквозь землю, чем встречаться с таким уничтожающим презрением в этих женских глазах. Почему-то он не успел заметить ничего другого, — не понял даже, было это молодое или, может, пожилое лицо, — взгляд этот будто кипятком плеснул в его душу нестерпимой болью укора. Между тем к его коленям придвинулся второй запыленный сапог с большим белым пятном на голенище. Иван помедлил. Немец нетерпеливо буркнул два слова и носком пнул его в грудь. Что-то в нем, еще позволявшее контролировать себя, сорвалось, пальцы выпустили рукава и мертвой хваткой впились ногтями в ладони. Он вскочил на ноги и, подхваченный гневной силой, от которой неуправляемой тяжестью налились кулаки, бешено ударил немца в челюсть. Это случилось так быстро, что он даже удивился, увидев Зандлера лежащим на бетонном полу. Поодаль, подпрыгивая, катилась его фуражка.

Все еще не до конца осознав смысл происшедшего, Иван, вобрав голову в плечи и широко расставив ноги, с туго сжатыми кулаками стоял перед немцем. Он ждал, что Зандлер сразу же вскочит и бросится на него. До слуха его откуда-то издалека донеслись возбужденные разноязыкие восклицания, только он не соображал уже, осуждали

они или предупреждали. Эсэсман, однако, не бросался, он неторопливо, будто преодолевая боль, повернулся на бок, сел, медленно поднял с пола фуражку, несколькими щелчками сбил с нее пыль. Кажется, он не спешил вставать, сидел, широко расставив ноги, в одном блестящем и другом нечищеном сапоге, будто безразличный к пленному, пригладил рукой волосы, аккуратно надел фуражку. Затем уже поднял на взбешенного и заметно растерянного флюгпункта¹ тяжелый угрожающий взгляд и тут же решительно рванул на ремне кожаный язычок кобуры.

В голове Ивана молнией сверкнула мысль: «Все пропало!» — но почувствовать досаду он не успел, — рядом щелкнул затвор пистолета, и немец с внезапной стремительностью вскочил на ноги. Это сразу вывело Ивана из оцепенения, и, чтобы умереть не даром, он ринулся головой на врага.

Ударить, однако, он не успел, — земля вздрогнула, подскочила, внезапный громовой взрыв подбросил его, оглушил и кинул в черную пропасть. Немца и все вокруг накрыло облако коричневой едкой пыли.

Через секунду Иван почувствовал, что лежит на полу, а кругом что-то падало, сыпалось, что-то дымно, зловонно шипело, жаром горела спина; почему-то с опозданием рядом упал и вдребезги разлетелся кирпич. Почувствовав себя живым, Иван упруго крутнулся, оглянулся — на бетонном полу беспомощно скреб знакомый с царапиной на

¹ Ф л ю г п у н к т — заключенный-штрафник.

носке сапог, в клубах пыли дергалась, пытаюсь куда-то отползти, фигура врага. Иван схватил из-под бока тяжелый осколок бетона и с размаху ударил им немца в спину. Зандлер встрепенулся, ахнул, мотнул в воздухе рукой, та напомнила Ивану о пистолете, на коленях он перевалился через эсэсмана, рванул из его полуразжатых пальцев пистолет и с бешеным стуком в груди бросился в вихревое облако пыли...

5

Мрачная, бесприютная ночь застала беглецов в каком-то каменистом, заросшем кривым сосняком ущелье, которое, постепенно суживаясь, полого подымалось вверх.

Не так проворно, как прежде, Иван лез по замшелым камням, изредка останавливаясь, чтоб подождать девушку, которая из последних сил упорно плелась за ним. Он хотел во что бы то ни стало выбраться из этой мрачной расселины. Там, наверху, наверно, был реже мрак, который тут густым туманом начал заполнять пропасти, но у парня уже не хватало на это решимости, так как силы его тоже сдавали. К тому же очень хотелось как можно дальше отойти от города, до конца использовать этот дождливый вечер, который так кстати выдался сегодня и надежно скрыл от овчарок следы беглецов. И он, изнемогая, все выше и выше забирался в горы, ибо только там, в Альпах, можно было спастись, а внизу, на дорогах, в долинах, их ждала смерть.

Проклятые горы! Иван был благодарен им за их недоступность для немецких охранников, собак, мотоциклистов и засад, но он начал и ненавидеть их за то, что они так безжалостно отнимали силы и могли, как видно, вконец измотать человека. Это совсем не то, что его последний побег из Силезии, — там легко было ночью шагать по полям и лугам — звезды в светлом небе указывали путь на родину; забегая в немецкие села и фольварки бауэров, они добывали кое-что из съестного — овощи и молоко из бидонов, подготовленных у калиток для отправки по утрам в город. Весь долгий, мучительный от бездействия день они, поочередно бодрствуя, сидели, забившись где-нибудь во ржи или кустарнике. Правда, страху натерпелись и там. Целый месяц небольшая группка их, оборванных, небритых, страшных, пробиралась к желанным границам родной земли. Неизвестно, как остальным, а ему очень не повезло тогда: вырвавшись от немцев, он попал в руки еще худших сволочей, которые с виду показались своими. Когда его везли в город, то просто не верилось, что они не шутят, — такие это были обыкновенные деревенские парни, незлобиво ругавшиеся на понятном языке, одетые в простые крестьянские пиджаки и рубашки и, кроме дробовиков, не имевшие другого оружия. Только у того, что был с белой повязкой на рукаве, висел на плече немецкий карабин.

И теперь вот горы, Лахтальские Альпы — неведомый, загадочный, никогда не виданный край, и в нем — маленькая, упрямая надежда — свобода.

Иван очень устал, и, когда начал уже при-

смастриваться, где бы приютиться на ночь, сзади глухо стукнуло что-то, и по обрыву посыпались камни. Он оглянулся — его спутница лежала на склоне и, казалось, даже не пыталась подняться. Тогда и он остановился, выпрямился, перевел дыхание, подождал. Уже смерклось. Сверху почти неслышно моросил мелкий, как пыль, дождик, вокруг тускло серели громады камней, беспорядочными космами чернели вверху сосны, отяжеленное непогодой и мраком, низко осело небо. Мокрая одежда, нагреваясь при ходьбе, слегка парила, и влажную спину — стоило только остановиться — сотрясала дрожь. Он видел издали темный силуэт спутницы, едва заметные движения ее головы и неподвижные, голые до локтей руки — она не вставала. Тогда он сошел вниз, сунул за пазуху пистолет и, нагнувшись, бережно приподнял ее легкое тело. Она зашевелилась под его руками, села, не поднимая головы, и он, постояв, с досадой подумал, что придется, видно, заночевать здесь.

Он осмотрелся — с одной стороны круто вверх поднималось нагромождение скал и камней, а с другой — склон терялся внизу в сумеречной чаще сосняка, оттуда полз и полз густой и промозглый туман. Уже не видно было, какая там глубина, — только где-то далеко в сизой парной тишине монотонно клекотал ручей.

Иван тронул девушку за плечо, — подожди, мол, а сам двинулся дальше, всмотрелся в сумрак — в одном месте над каменистым склоном слегка нависала скала. Убежище, конечно, было не ахти какое, но от дождя защищало, а на большее рассчитывать им не приходилось,

Осторожно ступая по острым камням, он вернулся назад.

Удивительно, куда девалась недавняя живость этой девушки, ее смелость перед мотоциклистами — она выглядела теперь мокрой, усталой птицей, нелепой судьбой заброшенной в это ущелье. Тяжело дыша, девушка не реагировала на прикосновение его руки, не встала на ноги, а еще больше сжалась в маленький дрожащий комочек.

— Пошли, передохнем,— сказал он.— Отдохнем, понимаешь? Ну, шлафен, или как тебе сказать...

На минуту она притихла, сдержала дрожь, однако продолжала сидеть, низко опустив голову. Он немного постоял, затем обеими руками подхватил ее, намереваясь перенести в укрытие. Девушка с неожиданной силой дернулась в его руках, что-то по-итальянски вскрикнула, забила ногами, и он выпустил ее. Постояв минуту, смущенный, он со злостью подумал: «Ну и черт с тобой! Сиди тут, привереда этакая!» И ушел под скалу. Только теперь почувствовал он, как ослабел, уже с закрытыми глазами натянул на затылок воротник куртки и уснул.

Как всегда, мир мгновенно перестал существовать для него, уступив место сумбурному кошмару снов. Этот переход был так незаметен, что казался продолжением мучительной яви. Всякий раз ему снился один и тот же сон, уже больше года почти каждую ночь он заново переживал муки одного дня войны.

Все начиналось с вполне реальной, тягостной атмосферы беды, которую приносит с собой воен-

ный разгром. И хотя переживания эти потеряли свою остроту, заслонились другими — большими и малыми бедами, но во сне, усиленные им, с новой яростью терзали его опять и опять.

Как обычно, вначале перед ним вставала ободранная стена украинской мазанки, на углу которой углем было выведено: «Хоз. Алексеева» и стрелка-указатель рядом. Надпись была примерно месячной давности, когда армия еще наступала на Змиев в обход Харькова, — теперь же войска двигались в обратном направлении. Ночью топили в реке тягачи — не было бензина, разбрасывали по полю разобранные оружейные замки, жгли в садах штабные бумаги. На рассвете во дворе, где они приютились, после короткого офицерского совещания застрелился полковник, который командовал группой окруженных. Их роте было приказано прикрыть отход, и трое бойцов с молодым лейтенантом выкопали у крайней хаты узкий окоп-ровик.

Все это запомнилось Ивану на всю жизнь, но теперь, в тревожном сне, почему-то полковник тот носился по двору с планшетом в руках и ругал Голодая, черноморского матроса, ставшего командиром роты автоматчиков. Неизвестно почему с ним, сержантом Терешкой, в окопе сидел не Абдурахманов, боец из их разбитой батареи, который почти ни слова не понимал по-русски, а флюгпункт Сребников. Доходяга Сребников, вместо того чтобы готовить к бою свой пулемет, немецким тесаком лихорадочно соскребает с гимнастерки свои флюгпунктовские мишени и все бурчит про себя: «Ни шагу назад! Ни шагу назад!..» И вместе с тем вполне реальная картина того далекого утра —

ясное весеннее небо, наискось через дорогу пролегает синеватая прохладная тень от мазанки, под плетнем, осыпая росу, вздрагивает крапива, и так же часто вздрагивает надетый на кол кувшин. А за околицей по большаку в село идут танки. Они вот-вот должны появиться из-за угла этой мазанки, а Иван Терешка никак не может вставить в гранату запал. Изо всех сил он запихивает его пальцами, но маленький латунный цилиндрик, будто став толще, чем надо, никак не лезет в отверстие. Терешка нервничает, спешит, рискуя взорваться, бьет по нему кулаком, а когда спохватывается, то видит, что в окопе он один, что товарищи покинули его. И тогда приходит понимание того, что ему надо уходить, что он не слышал команды об отходе. Иван бросается грудью на бруствер, обрушивая землю, старается вылезть из окопа, но налитое непонятной тяжестью тело не слушается его, и он сползает назад.

А танки уже рядом.

Вспугнутая их грохотом, из огородов в воздух взмывает огромная, вполнеба, стая воробьев, в стремительном полете она дружно сворачивает в одну сторону, потом вся вместе — в другую, и тотчас из-за хаты, взрыхлив на повороте землю, высывается первый танк.

Иван понимает, что убежать не удастся, бесильно размахивается и бросает на дорогу гранату. Она почему-то не взрывается, а подскакивает и шипит, и танк вот-вот объедет ее. В это время из танка замечают окоп под стеной, танк сворачивает, и тогда невыразимый ужас пронизывает Терешку — ведь это тридцатьчетверка.

На секунду Иван теряет самообладание от страха: что он натворил! Он бросается назад и тут почти патыкается лицом на широкий, ножевой штык, занесенный над ним,— немец делает короткий выпад, и штык мягко и неслышно, будто в чужую, вонзается в его грудь. Иван знает, что это конец, что он убит, и захлебывается от отчаяния, хотя боли почему-то не чувствует.

Обычно в этот момент он в страхе просыпается, но сейчас сознание его действует как бы отдельно, где-то в стороне, оно ободряет, давая знать, что это еще не все, что впереди еще плен, побеги — и потому он не может погибнуть, даже будучи прокнут штыком.

Сновидения путаются, меняются, и вот он уже оказывается в деревне, в своих Терешках, на древней земле кривичей, и будто все это происходит еще до войны, даже до его призыва в армию. По прибитой овечьими копытами улице Иван бежит к колхозному амбару, куда — знает он — пригнали со связанными руками Голодая и с ним еще нескольких знакомых гефтлингов. Сердце у Ивана разрывается от обиды, от напряжения, кажется, он опоздает и не докажет людям, что нельзя срывать злость на пленных, что плен — не проступок их, а несчастье, что не они сдались в плен, — их взяли, а некоторых даже сдали, предали — было и такое.

Но он не добегает до амбара. Босые ноги его увязают в грязи, он едва переставляет их, немеют руки, все тело, он бежит, как в воде, — медленно и трудно. Выбирая дорогу, сворачивает к изгороди и вдруг видит на ней чьи-то голенастые босые ноги. Он вскидывает голову: на верхней жерди сидит не-

знакомка — девушка с черными, высоко вскинутыми бровями, в белоснежном, сверкающем на солнце платье, она лучисто улыбается ему черными, как созревшие сливы, глазами и говорит:

— Чао, Иван!

И он останавливается, вдруг забыв о хлопцах, обо всем на свете, он рад, счастлив, смущен встречей с ней, она вдруг кажется давно знакомой, близкой ему, — это же та, что всю жизнь подсознательно жила в его мечтах. Захлебнувшись от радости, он ступает к изгороди, к девушке, но тут же, взглянув на себя, спохватывается — ведь он прибежал с поля, от трактора, на нем старые, залатанные на коленях штаны, вылинявшая на плечах рубашка и запачканные мазутом руки. Смущенный, он останавливается, мрачнеет, она тоже сгоняет светлую улыбку со своего необыкновенно солнечного лица, внезапно меркнет яркая белизна ее платья, и постепенно девушка исчезает, как при видение.

Тогда он бросается к изгороди, хватается за жерди, за переплетенные лозой кольца, но тут перед ним возникает его мать. Положив на верхнюю жердь руки, она стоит по ту сторону изгороди в картофельной ботве, в темной крестьянской одежде и скорбно говорит:

— Фашистка она, сынок. Хлопцев твоих немцам выдала...

«Где она? Где?» — хочется ему закричать, но он не может этого сделать, так как у него на шее веревка — черный шелковый шнурок, на котором под барабанный бой вешали заключенных в лагере. Веревка захлестывается, натягивается, другой

конец ее, как поводок, тянется за недобитой им в распадке овчаркой. Овчарка сильно дергает поводок, Иван падает, хочет закричать, но у него нет голоса, и тут от какого-то внутреннего толчка он просыпается.

6

—Ха-ха-ха,— раздается над ним звонкий девичий смех.

Он вскидывает голову, ошупывает шею, широко раскрывает заспанные глаза, и первое, что видит перед собой,— это яркая бездонная голубизна неба и рядом — белозубая девушка с веселой улыбкой.

— Баста шляфен! Марш-марш надо!¹

Сразу же тело его, будто под током, содрогнулось от холода. Еще не избавившись от мучительных сновидений, он промолчал, с трудом переключаясь в реальный, со всеми его заботами мир, взглянул на девушку, не разделяя ее веселости. А она, опершись на руку, сидела рядом и грызла стебелек травы, которым, видно, пощекотала его. От вчерашней ее апатичности и изнеможения, казалось, не осталось и следа.

— Марш, говоришь? Ну поглядим.

— Глядим, глядим,— согласилась она, с лукавыми смешинками в глазах всматриваясь в его лицо.

А он, еще раз зябко передернув плечами, вскопчил, бешено замахал руками, начал выбрасывать

¹ Довольно спать. Илти надо.

В стороны ноги и присесть — испытанный солдатский прием, если хочешь согреться. Она сначала удивилась, высоко вскинула широкие дуги-брови, потом вдруг засмеялась, коротко, но так громко, что он испуганно шикнул:

— Тише ты!

Она спохватилась, зажала ладонью рот и оглянулась, но в ее глазах все еще прыгали неугомонные озорные чертики. Иван строго, с укором посмотрел на нее, потом вслушался, чувствуя, как одубевшее от холода тело понемногу наливалось теплом, а она вновь беззаботно-насмешливо прыснула:

— То гимнастик?

— Ну гимнастика. А что, лучше мерзнуть?

Он был озабочен и вовсе не склонен к шуткам. Она, видимо, поняла это и стала серьезнее, зябко передернула узенькими худыми плечиками под влажной со вчерашнего дня курткой, вздохнула и с любопытством взглянула на него снизу.

По старой воинской привычке он прежде всего осмотрелся и понял, что действительно проспал, что давно рассвело, солнце еще не выкатилось из-за гор, но безоблачное небо, казалось, звенело от утренней яркой голубизны: всеми цветами радуги сияла противоположная, освещенная солнцем сторона ущелья — серые скалы, сосны, широкие крутые расселины и высоченные утесы. Эта же его сторона дымчатой серой массой терпеливо дремала, еще не распрощавшись с сумраком ночи.

— Горы карашо! — увидев, что, он всматривается в окружающее, сказала она. — Как это?.. Эстетико!

Стукнув своими колодками, она вскочила с камня, на котором сидела, и тоже выбежала из-под скалы, любуясь обилием солнца на противоположной стороне ущелья. Иван, однако, был безразличен к природе: как и каждое утро в плену, вместе с пробуждением все его существо, каждую частицу тела охватило мучительное чувство пустоты — обычный, знакомый до мелочей приступ голода. Есть же было нечего, — где в этих проклятых горах добыть еду, он не знал и в то же время совершенно отчетливо сознавал, что голодные они далеко не уйдут. Постояв немного, он проглотил слюну и, равнодушный к тому, что занимало ее, спросил:

— Ты куда пойдешь?

Она, не поняв, подняла брови.

— Марш-марш куда? — казалось, начиная раздражаться, повторил он и махнул в разных направлениях: — Туда или туда? Куда бежала?

— О, Остфронт! Рус фронт бежалъ.

Он удивленно взглянул на нее.

— Си, си¹, — подтвердила она, видя его недоверие. — Синьорина карашо тэдэски² пуф-пуф.

Это было здорово! Ее наивность уже с утра начинала злить его. Иван, нахмурившись, глядел в это подвижное и чересчур, по его мнению, красивое лицо: не шутит ли она? Но она, по-видимому, не шутила, вполне серьезно высказала свое намерение и теперь, ожидая, что скажет он, своими бездонными глазами взглянула на парня.

¹ Да, да (*итал.*).

² Немцев (*итал.*).

— Какое луф-пуф! Глупости,— сказал он, плотнее закутываясь полами куртки.

— Вас? Что ест глупост? Руссо будет учит синьорина руски шпрехен?

— Посмотрим.

— Посмотрим ест карашо. Согласие, я? — шутливо допытывалась она. Но он не ответил — вздрогнул, ощутив на спине холодноватую влажность куртки, взглянул на нелепые круги — мишени на груди: в самом деле, надо позаботиться и об одежде, в этом полосатом одеянии не очень-то далеко уйдешь. И он, подцепив пальцами, с треском сорвал с куртки винкель и номер; она по его примеру сразу же принялась сдирать свои. Но ногти ее тонких пальцев были слишком нежны, а нитки не настолько слабы, чтоб легко поддаться. Тогда она шагнула к нему и, по-детски оттопырив полную нижнюю губу, повела плечом.

— Дай.

— Не дай, а на,— сказал он и медленно повернулся к ней. Острые бугорки под ее влажной курткой заставили его нахмуриться и сжать губы; она, заметив это, поспешно сгребла на груди складку и оттянула ее. После короткого колебания Иван взялся за уголок винкеля и сильно рванул его. Чтоб не оставлять следов, смял тряпки и сунул их в щель под камнем.

— Грацие. Спасибо.

— Ты где по-русски училась? — спросил он.

— Италия, Рома училь. Лягер руска синьорина Маруса училь. Карашо руска шпрехен, я?

— Хорошо,— равнодушно согласился он.

— Понималь отшень лючше карашо,— похва-

сталась она, и Иван внутренне улыбнулся этой ее наивности. Он, однако, думал о другом.

— Где Триест — знаешь?

— О, Триесте! Италия,— живо отозвалась она.

— Знаю, что Италия. А где, в какой стороне?

Она взглянула в одну сторону, в другую и уверенно махнула рукой туда, откуда поднималось над горами еще невидимое здесь солнце.

— Туда дорога Триесте.

«Дорога!» — невесело подумал Иван. Ничего себе дорога — через горный массив Альп, через теснины и реки, а главное — через густо населенные долины и оживленные автострады, — не так уж близок этот партизанский Триест, о котором он столько слышал в лагере. Но выбор у них был небольшой, и если уж посчастливилось вырваться из ада, так глупо было бы теперь дать повесить себя под барабанный бой на черной удавке.

И потому надо идти. Идти, лезть, бежать! Не раскисать, собраться с силами, использовать весь опыт, все способности, перейти главный хребет, найти партизан — югославских, итальянских — все равно каких, только бы встать в строй, взять в руки оружие. Только в этом видел Иван теперь смысл жизни, наивысшее свое призвание и награду за все страдания и позор, пережитые им за год плена.

В сыром мрачном распадке было холодно, остывшее за ночь тело донимала дрожь, хотелось скорее к теплу, на солнце. Отыскав подходящее место на склоне, они полезли меж камней вверх. На этот раз, впервые с момента их встречи, впереди лезла она, а он, немного отстав, карабкался

следом, и это было похоже на первое взаимное доверие между ними.

Каменистый склон тут был довольно крут, колodки скользили и падали с ее ног. Девушка наконец сняла их, взяла в одну руку и, хватаясь другой за колючие, твердые, как проволока, стебли какой-то травы, проворно, словно ящерица, прыгала с камня на камень.

— Руссо,— не останавливаясь, сказала она,— ты ест офицер?

— Никакой я не офицер. Пленный.

— Пленни? Я понималъ. Кто до войны билъ?

Иван помедлил с ответом. То, что она начала допрашивать, ему не понравилось (вот еще мне особый отдел!), и он сдержанно буркнул:

— Колхозник.

— Что ест колхозник?

— Не понимаешь, а спрашиваешь,— грубовато упрекнул он.— Ну вроде бауэра, ферштейн?

— А, понималъ: ляндивиршафт? ¹

— Вот, вот. Колхоз.

— О, я очень люблю колхоз! — вдруг⁴ оживленно заговорила она.— Колхоз карашо. Ля вораре ² компания. Отдых — компания. Тутто ³ компания. Карашо компания. Руссо колхоз карашо экономико. Правилна я понималъ? — спросила она и оглянулась.

Он не успел ответить — сдвинутые ее ногами, вниз покатались камешки, земля, разная мелочь,—

¹ Сельское хозяйство (нем.).

² Трудиться (итал.).

³ Все (итал.).

он едва успел отскочить в сторону. Она сверху озорно засмеялась и боком припала к склону. Иван со злостью прикрикнул:

— Тише ты!

Она снова спохватилась, закрыла рукой рот и оглянулась.

— Пардон.

— Пардон, пардон! Тихо надо. Чего разошлась?

Ее беззаботность злила. Видно, прикрикнул он чересчур грубо, она метнула на него взгляд и поджала губы.

— Мой имя ест Джулия. Синьорина Джулия,— сказала она.

Он строго оглядел ее, заметив про себя: «Ну и что? Синьорина!» Для него это ровным счетом ничего не значило, особенно деликатничать с ней он не собирался. А она, кажется, обиделась, замолчала и торопливо полезла вверх. Иван немного отстал. Низко пригибаясь к земле, он широко ступал на шершавые холодные камни, исподлобья бросал короткие взгляды на ее подвижную полосатую фигуру и думал: кто она? Какая-нибудь распущенная европейская гурен, как их называют немцы, бездомная бродяжка шумных итальянских городов, беспечная ночная бабочка, опаленная жестоким огнем войны? Это казалось наиболее вероятным, судя по ее озорному и, видимо, падкому на приключенния характеру. Правда, винкель у нее был красивый, политический, она что-то там говорила о своей ненависти к немцам, но Иван не очень верил в то, что ее враждебность к фашистам имеет серьезные основания. Возможно, кто-либо из них обидел ее, потом, конечно, хлебнула горя в

лагере, но такие вряд ли долго помнят обиды. Впрочем, он почти не знал ее, хотя уже не раз был свидетелем ее легкомыслия во многом, от чего зависела теперь судьба их побега. Конечно, он понимал, что в таком положении надо быть особенно бдительным и больше полагаться на самого себя.

7

Когда они наконец выбрались на край каменистого обрыва и остановились, чтобы перевести дыхание, их взгляду открылся огромный пологий косогор, заросший кривым горным сосняком. После сырого мрачного ущелья тут казалось необыкновенно привольно, просторно, далеко внизу широко раскинулась долина, за ней в бледно-сиреневой дымке тянулись вдаль соседние хребты гор.

— Раухен!¹ — запыхавшись, сказала она. — Немножко отдохай!

Иван молча опустил ся на край каменной плиты, торчавшей из земли, она бегло глянула вверх, в сплошное нагромождение скал, потом — вниз, на лесистый склон с частыми пятнами коричневой земли между сосен. И он, глядя на нее снизу, почувствовал, как она, будто зацепившись за что-то взглядом, замерла, поджав одну ногу и даже забыв надеть на нее колодку. Он тотчас вскочил, — далеко внизу между сосен поблескивала тропинка. Джулия, не оборачиваясь, схватила его за рукав: — Руссо, мэнш! Человек!

¹ Перекур (нем.)

Он и сам уже видел — по тропинке вверх то-ропливо шел человек.

Они присели. Джулия, кажется забыв уже о своей обиде, глубокими темными зрачками испытующе заглянула в его глаза, он же отвел в сторону насупленный взгляд и достал из-за пазухи пистолет. Девушка поняла его намерение, и Иван, ничего не объясняя, тронул ее за плечо,— мол, сиди тут,— а сам, пригнувшись, шмыгнул в редкий сосняк и, раздвигая на пути нижние ветви, быстро пошел по склону, надеясь выбраться на тропинку.

Но это случилось намного дальше, чем он сначала рассчитывал.

Выбирая места, где сосняк был погуще, он далеко отошел от ущелья и подумал, что не следовало оставлять девушку там, а тропинка все не показывалась. В воздухе густо запахло хвоей, было тихо; каменистая, засыпанная хвоей земля беспощадно колела его и без того исколотые ступни. Вскоре из-за ближней громады гор скользнули лучи утреннего солнца, стало заметно пригревать. Вспомнив о вчерашней погоне, он щелкнул затвором пистолета и из пластмассовой рукоятки вытащил магазин — там оказалось пять патронов, шестой был в стволе. Это немного обнадеживало, он подумал, что, возможно, им удастся раздобыть какую-нибудь одежонку, обувь, а может, и харчи. По-прежнему невыносимо хотелось есть. Тело заметно слабело, при мысли о еде во рту собиралась слюна, которую он едва успевал глотать.

Меж сосен шагах в десяти впереди внезапно показалась тропинка, он остановился, глянул

вниз, вверх — нигде никого. Постояв, вслушался: с ближней, причудливо изогнутой сосенки вспорхнула маленькая кучехвостая птичка, неподалеку упала на землю старая шишка, и снова стало тихо-тихо. Он поцискал взглядом какое-нибудь укрытие и, пройдя немного, опустился на колючую, поросшую реденькой травкой землю за обомшелым обломком скалы.

Лежа лицом вниз, он ждал, часто поглядывая туда, где меж сосновых вершин поблескивала тропинка, и думал, что сделать с человеком? Он не сомневался, что по тропе идет не военный, что одежду он отдаст без сопротивления (все-таки пистолет), вот только как быть дальше — убивать безоружного не позволяла совесть, оставлять же его тут было равносильно самоубийству. Но сколько он ни напрягал свой не очень подвластный ему теперь разум — ничего не мог придумать и чувствовал, что эта неопределенность к добру не приведет. Однако было бесспорно и то, что главный хребет в таком состоянии, в котором они находились сейчас, им не одолеть.

Человек показался ближе, чем Иван предполагал. На тропинке внизу вдруг появилась его согбенная под тяжелой ношей фигура, но он почему-то не шел, а почти бежал, задыхаясь от усталости, и все шарил глазами по сосняку, оглядываясь по временам. Неужели он увидел их? Иван напрягся за камнем, сжался в комок, стараясь скрыть свою полосатую одежду, и с неожиданной злостью выругался, ясно осознав, как мерзко и подло то, что он вынужден теперь сделать.

Но так было нужно,

Он позволил человеку подойти ближе, сам осторожно, поджав ноги, поворачивался за камнем. В рукаве шевелился, словно крапивой обжигал плечо, муравей. Австриец устало тащил на плечах тяжелый брезентовый мешок. Торопливо ступая грубыми, на толстой подошве башмаками, он уже проходил мимо, когда Иван в три прыжка выскочил на тропу. Прохожий, услышав шум сзади, оглянулся. Это был неуклюжий, пожилой толстяк в короткой кожаной тужурке, тирольской шляпе с барсучьей кисточкой на шнурке и поношенных, пузырящихся на коленях штанах. От неожиданности он заморгал глазами, что-то быстро-быстро заговорил по-немецки, замахал руками и двинулся на парня. Иван приподнял пистолет.

— Герр гефтлинг!.. Герр гефтлинг! — лопотал австриец. — Воцу ди пистоле! Эсэс! ¹

Иван сразу весь подобрался, он понял, но никак не хотел поверить, что снова нависает над ними беда. Проклятый муравей разгуливал уже между лопаток, но парень не шевельнулся, чтоб стряхнуть его, — суровым, беспощадным взглядом он впился в австрийца.

— Эсэс! Дорт эсэс! Штрейфе! ² — беспокойно говорил человек. Он был взволнован, пот ручьем лился по его немолодому, обрюзгшему лицу, в груди, удушливо скрипело и свистело на все голоса. Иван оглянулся и прикусил губы.

— Где эсэс?

¹ Господин пленный!.. Господин пленный! Не нужно пистолета! Эсэс.

² Эсэс! Там эсэс! Облава!

— Дорт! Дорт! Их мѣхтэ инен гут махен¹,— махал рукой австриец, держась рукой за ляжку мешка.

— Ду найн люген?²

— О найн, найн! Их бин гутэр мэнш!³— горячо говорил он и, сменив тон, на ломаном русском языке произнес:— Я биль плен Сибирь.

В его встревоженных тусклых глазах мелькнуло что-то теплое, как хорошее воспоминание, и Иван понял: он не обманывал. Надо было спешить, их вот-вот могли обнаружить тут, но с этим человеком исчезала последняя надежда заполучить хотя бы кусочек хлеба.

— Ду вэр? Варум хир?⁴— строго спросил Иван и за рукав тужурки бесцеремонно дернул австрийца с тропинки.

— Их бин ва́льдгютер. Дорт ист майн форстей⁵.

Иван взглянул вверх, куда показывал человек, но никакого дома не увидел, зато заметил, как из чащи выскочила Джулия,— вероятно, она слышала их разговор и настойчиво заговорила:

— Руссо! Руссо! Бежалы! Руссо!..

Не обращая внимания на ее предостерегающий крик, Иван еще раз дернул австрийца за плечо и вырвал у него из рук мешок.

— Эссен?⁶

¹ Там! Там! Я желаю вам добра.

² Ты не врешь?

³ О, нет, нет! Я честный человек!

⁴ Ты кто? Почему здесь?

⁵ Я лесник. Там мой дом.

⁶ Кушать?

— О, я, я, — подтвердил тот. — Брот¹.

Австриец, видимо, все понял, оглянулся, быстро опустился на колени и дрожащими пальцами растегнул молнию своего мешка. Иван выхватил из мешка небольшую, черствую буханочку хлеба. Австриец не протестовал, только как-то обмяк, сразу утратив недавнюю свою живость, и на мгновение в душе Ивана шевельнулся упрек. Но он тут же подавил его, отпрянув под соспу, бросил взгляд вверх, на серые снежные вершины, и оглянулся. Австриец завязывал мешок, пальцы его никак не могли справиться с молнией, тогда Иван швырнул подскочившей Джулии хлеб, а сам снова шагнул к человеку:

— Снимай!

Он забыл, как назвать по-немецки тужурку, австриец не понял, и парень выразительно дернул его за рукав. Только австриец почему-то не спешил отдавать одежду, на старческом, красноватом от склеротических прожилок лице скользнула растерянность. Иван крикнул: «Шнеллер!» — и дернул настойчивее.

— Шнеллер! Шнеллер, руссо! — приглушенно, но очень настойчиво звала его из сосняка Джулия, и австриец с какой-то безнадежностью, вдруг раслабившей все его существо, снял с себя тужурку. Иван почти вырвал ее у него из рук и в последний раз взглянул в глаза этому человеку. Иван пошмал — это была черная неблагодарность, грабеж, этим он в случае неудачи ставил под виселицу и его, но иначе было нельзя.

¹ О, да, да. Хлеб.

Он побежал в сосняк, где мелькнула полосатая куртка Джулии, и, уже отдалившись, оглянулся — австриец стоял на прежнем месте в синих подтяжках поверх светлой сорочки и, опустив руки, смотрел им вслед. Что было в том взгляде, Иван так никогда и не узнал.

8

Они опять изо всех сил побежали вверх.

Уже через четверть часа их лица взмокли от пота, шаги стали короче — беглецы изнемогали. Сосняк кончился, они выбрались на пологий травянистый косогор, тут, очевидно, проходила верхняя граница леса, и дальше высились голые, обросшие мохом скалы, глыбы камней да высоко, в самом небе, был виден серый, будто крыло куропатки, присыпанный снегом хребет. Подъем становился все круче и упирался впереди в отвесную скалистую стену, приблизившись к которой Иван понял, что взобраться наверх тут не удастся. Тогда он свернул и побежал вдоль этой гигантской преграды в поисках удобного для укрытия места. Все время его точило сомнение — от австрийца теперь можно было ждать разного. Только бы не собаки, только бы не собаки, думал Иван, с безысходной ясностью сознавая, что если немцы пустят по их следу собак, то им уже не уйти.

Продолжая бежать по косогору, он то и дело поглядывал вниз — там словно на ладони уже был виден весь этот лесистый склон: широкое ущелье, где они провели ночь, сосняк, на краю которого приютилась, видимо, усадьба лесника — дом с вы-

соким каменным фронтоном и длинной деревянной галереей вдоль стен. С минуты на минуту он ждал, что там появятся немцы, но те почему-то опаздывали, и возле усадьбы было глухо и пусто. Не видно было и лесника, — наверно, он еще не поднялся снизу. В эти несколько напряженных минут Иван ожесточенно проклинал тех, по чьей воле он вынужден был пойти на такое дело. Разве он разбойник с большой дороги или грабитель? Зачем ему останавливать этого мирного толстяка, угрожать ему пистолетом и тем более — грабить, если б не война, не плен, не бесчеловечные издевательства и унижения, не то, наконец, на что он решился ради своей жизни, ради Джулии, ради этого австрийца тоже.

Так, минуя огромные камни на травянистом лугу, они взбежали на взлобок и недалеко, в скалистой стене, увидели узкую щель расселины, которая вела куда-то в глубь каменных недр. Ивана это сильно обрадовало, он подумал, что там, возможно, есть ручеек, который позволит запутать следы, да и самим — чувствовал он — надо было куда-то прятаться, так как каждую секунду могли появиться немцы. Иван из последних сил бежал по траве, за ним, изнемогая, но терпеливо перенося усталость, бежала Джулия.

Ободрав в колючих рододендроновых зарослях ноги, они вскоре пробрались в расселину, но ручья, к сожалению, в ней не оказалось. Это было глухое, дикое место, где царил сырой душный мрак, с крутых каменных стен свисал колючий кустарник, в щелях между камней пробивались пряди жесткой травы. Внизу валялись старые кости; вспугнутая

людьми, со свистом шарахнулась в глубь расселины какая-то ночная птица. Очень неприветливым показалось им это место, но то, что они все же успели добежать сюда и спрятались, несколько успокоило Ивана. Он замедлил шаг, взобрался на обомшелую каменную плиту и подождал Джулию. Взмахивая для равновесия рукой, девушка по камням подбежала к нему, ее короткие черные волосы спутались, лицо горело от бега и усталости, а в глазах, когда она взглянула на Ивана, вместо обычной игривости были испуг и ожидание.

— Порка мадонна! Мы уходиль, да? — спрашивала Джулия.

Он нетерпеливо бросил:

— Давай быстрее!

— Что ест быстрее? — не поняла девушка.

Иван не ответил. Тяжело дыша, Джулия подбежала ближе, и они по камням двинулись дальше.

— Много карашо фатер! Коммунисто фатер! — с радостью сказала она.

— Какой там коммунист! — с досадой отозвался Иван. — Человек просто.

— Си, си, челёвек. Бене челёвек¹, — согласилась девушка, пробираясь вперед.

Он в это время вслушивался в звуки снизу и не мог оторвать взгляда от зажатой у нее под рукой буханки. Джулия почувствовала его взгляд и обернулась:

— Эссен? Хляб, да?

Она быстро отломил от буханки краешек корки и протянула Ивану. Тот не колеблясь взял, жад-

¹ Да, да, человек. Хороший человек.

но укусил раза два и проглотил. Надо было торопиться, сзади вот-вот могли появиться немцы, но он уже не мог не думать о хлебе, стал угрюм и медлителен. И Джулия, поняв, остановилась, присела, прижав буханку к груди, быстрыми пальцами отломил от края большой кусок, который услужливо сунула Ивану в его широкие, огрубевшие ладони. Крошки, осыпавшиеся на полу куртки, тщательно собрала в горсть и бросила себе в рот.

Иван, бережно взяв хлеб, повертел его в руках, будто рассматривая, исподлобья тайком взглянул на буханку в ее руках и начал старательно разламывать кусок на две части. Затем, как бы взвесив на ладонях, одну половину протянул ей. Она не отказалась, усмехнулась и быстро взяла.

— Данке. Нон: грацие — спасибо!

Жадно жуя, он не ответил на ее благодарность.

Они полезли дальше. Девушка также молча начала есть, но хлеба было очень мало, крохотные кусочки его лишь раздражили их аппетит, и вскоре Джулия резко обернулась к своему спутнику:

— Руссо! Давай все-все манджнаре!¹ Си?

Глаза ее в веселом прищуре загорелись прежней озорной живостью, пальцы впились в начатую буханку, готовые разломать ее, и Иван испугался, почувствовав, что она действительно раскрошит этот их более чем скудный запас. Он схватил ее за руку:

— Дай сюда!

Джулия удивленно повела бровями, а Иван выхватил у нее хлеб и быстро завернул в тужурку.

¹ Кушать (*итал.*).

Девушка сперва смутилась, а потом вдруг рассмеялась. Он недоумевающе посмотрел на нее:

— Ты что?

— Руссо правильно! Джулия нон верит хляб. Слово верит, любов верит. Хляб нон верит Джулия. Джусто — правильно, руссо!

Смеясь, она подошла сзади к Ивану и легонько коснулась ладонью его худой лопатки. Ощувив ее неожиданную ласку, он неловко повел плечами.

— Ладно, — буркнул Иван, намереваясь отойти дальше, но в это время раскатисто прогремел далекий винтовочный выстрел. Они оглянулись и застыли на камне, — снизу, откуда-то со стороны усадьбы, донеслись крики, сразу же затрещали «шмайсеры» — над ущельем загредело, загрохотало эхо. Иван сжался — он напряженно вслушивался, не прорвется ли оттуда в этой внезапной суматохе знакомый, ненавистный лай. Но лая не было. Пули в расселину не долетали, очереди трещали почему-то далеко в стороне, и это немного удивило Ивана. С полминуты прислушавшись, он бросил тужурку на камни и по выступам и трещинам в скале, цепляясь за кусты, полез наверх, чтоб взглянуть из расселины.

Очереди трещали, гремели, вверху со свистом проносились пули, в грохоте пальбы уже был слышен далекий треск мотоциклов. Джулия, запрокинув голову, напряженно слушала и следила за Иваном, который взобрался почти до середины крутой стены. Оглянувшись на выход из расселины, он пролез еще немного и, вобрав голову в плечи, замер, увидев вдаль усадьбу и немцев. Ловко перехватив тужурку, Джулия скинула клумпесы, что-то

крикнула, но он будто прилип к скале и не мог оторваться от зрелища, краешек которого приоткрылся ему с высоты.

В редком ельнике перед усадьбой лесника металась три мотоцикла, пулеметы которых торопливо били куда-то вверх. Где-то, видно пробуя прорваться выше, трещали еще несколько мотоциклов, но их не было видно из-за выступа скалы. Было только ясно, что огонь и все свое внимание немцы направили в сторону от этой расселины: темп стрельбы свидетельствовал о том, что они видели цель. Поведение немцев вызвало смутную догадку, Иван подвинулся немного в сторону, прячась за выступ в скале, взобрался выше и вдруг хорошо увидел все, что там происходило.

Снизу что-то кричала Джулия, но он не слушал ее,—вцепившись пальцами в каменный выступ, он смотрел, как по склону к скалистой стене, широко перекидывая длинные ноги, бежала фигура в полосатом. Вокруг нее вспархивали клубочки пыли—это ложились пули. Гефтлинг падал, но тотчас вскакивал и бежал, чтобы через несколько секунд снова упасть. За ним, правда в отдалении, возле усадьбы оставив мотоциклы, рысили вверх трое немцев, в то время как остальные с места, через их головы, били из пулеметов. Огонь был очень густой и дружный, и все же гефтлинг бежал. Иногда он оглядывался и, казалось, даже что-то кричал, потом падал, и Иван каждый раз думал: не встанет. Но нет! Как только ослабевал огонь, бедняга вскакивал и бежал вверх.

— Руссо! Руссо! Что смотреть? Руссо! — нетерпеливо притопывая, спрашивала Джулия,

Иван молча следил за беглецом, боясь шевельнуться на скале и считая, что судьба того уже решена. И действительно, вскоре он еще раз упал почти у самой скалы, и стрельба сразу стихла.

У Ивана будто что-то оборвалось внутри, он быстро соскользнул по скале вниз, затаив тихую благодарность судьбе, пославшей им укрытие в этой расселине. С тяжелым чувством на душе соскочив на землю, он коротко бросил Джулии:

— Капут.

— Капут? — широко раскрыв глаза, не поняла девушка.

— Компание твой.

— Кранк гефтлинг?

— Ну.

— Ой, ой!

Он взял у ошеломленной Джулии тужурку, девушка проворно подобрала қолодки, и оба начали взбираться по камням вверх.

9

Все же они не сумели пройти незаметно, обнаружили себя, позади остался свидетель, и прежнее беспокойство с новой силой охватило Ивана — выдаст австриец или нет?

Опыт всех его побегов подсказывал, что именно такие вот обстоятельства чаще всего оказывались для беглецов роковыми. Нигде — ни в поле, ни в горах, ни на дороге — не подвергали они себя такому риску, как во время захода в деревни, усадьбы, на хутора, во время встреч с людьми. Именно там поджидала опасность очень осмотрительных и

даже сверхосторожных. Там часто кончались безмерно трудные пути на волю и начинались другие, еще более мучительные — на запад, снова в плен. Но и вовсе избежать людей было невозможно — надо было питаться, спросить дорогу, переодеться. Гарантии от измены никогда не было, и беглецы часто надеялись на авось, на счастливый случай, на человечность. Нередко им и везло, но далеко не всегда.

Год назад Иван тоже надеялся, что все как-нибудь обойдется, как обошлось в предыдущие тридцать два дня. Втроем они довольно удачно миновали засады, переплывали реки, обходили деревни, избегали встреч с полицейскими; дважды уходили от погони — раз, правда, потеряли четвертого, ленинградца, танкиста Валерия. Остальные же добрались до родной земли, до Волыни, кругом лежали украинские села, в поле на лошадях и волах пахали свои полоски крестьяне. От них уже не хотелось скрываться, — это были свои. Однажды старик охотно показал им, где лучше перейти речку, в другом месте они позубоскалили с двумя девушками, пасшими коров на опушке. Одна из них сбегала домой и принесла им кусочек сала, белого хлеба и десяток сырых яиц. Горевать уже не приходилось, тем более что становилось тепло — уже можно было ночевать в лесах и без нужды не соваться в деревни. Если бы только не еда, из-за которой они должны были заходить в селения.

В то утро, оставив друзей на опушке, в село направился Иван. Накануне ходили другие, теперь была его очередь.

Он немного опоздал выйти из лесу, через который извилистой дорогой они шли ночью, уже начало светать, но ему не хотелось забиваться куда-нибудь в глушь на пустой желудок. Внимательно всмотревшись с опушки в хуторок, Иван ничего подозрительного там не заметил, большой дороги поблизости, кажется, не было, и он через болотце, держась ближе к кустам, двинулся к крайней хате. Под полой у него был немецкий автомат с двенадцатью патронами в магазине, добытый на дороге под Краковом, армейские сапоги на ногах и на плечах какая-то немудреная крестьянская свитка. Внешне он напоминал обычного сельского парубка, такого, как и все тут, и без задержки дошел до огородов, потом по стежке от гумна, что вела меж плетней, свернул к ближней хате. К несчастью, хата стояла на противоположной стороне улицы, он оглянулся — вблизи никого не было, только где-то во дворе скрипнула дверь и замочала корова, — должно быть, хозяйка шла доить ее. Не успел он перебежать покропленную росой дорогу, как из соседнего двора кто-то вышел на улицу. Иван даже не взглянул на него, только почувствовал, что тот заметил его, и он, нагнув голову, юркнул за угол. Там Иван оглянулся — человека на улице не было, зато возле дома напротив высился огромный брезентовый кузов машины. Это было так некстати, тем более что во дворе уже тревожно крикнули, деваться Ивану было некуда (за хатой лежал широкий заборонованный огород), и он кинулся к раскрытым в сени дверям. В дверях стоял человек, небритый, средних лет крестьянин. Он, наверно, все понял без слов, толь-

ко побледнел немного, так как, видно, услышал окрик, взглянул на Ивана, у которого заметно оттопыривалась пола, и отступил на шаг, пропуская в хату. Иван без единого слова вскочил в чистенькие, прибранные сени с разбросанным по полу аиром, метнулся туда-сюда, ища какого-нибудь укрытия, и, не найдя ничего подходящего, сквозь раскрытые двери кинулся в другую комнату, где была печь. Там он увидел черную пасть подпечья, припал на колени, быстро выглянул в окно, возле которого на топчане из-под полосатого самотканого одеяла высывались три пары коротеньких детских ног. Парня охватило дурное предчувствие — нет, попал не туда.

Но было уже поздно — во дворе затопали сапоги, и он, обдирая бока, протиснулся в смрадную узкую дыру подпечья, сжался за выступом, — в сени входили люди. Только успел затаить дыхание, как сразу донеслись чужие голоса: то были немцы, двое или больше. Хозяин не понимал их или, может, не хотел понимать, — Иван все слышал, и переводчик ему не был нужен.

— Вэр ист? Вэр лауфт? ¹ — кричал один немец.

— Ин дизем аугенблик. Их хабе гезеен! ² — настаивал второй.

— Паночки, нэ розумію. У мэнэ нікого нэма. Што ви!

У Ивана враз спало напряжение, — значит, хозяин не выдаст, слава богу, хоть в этом повезло, — может, теперь не найдут. И он прижался к стенке

¹ Кто такой? Кто бежал?

² Только что. Я сам видел.

плотнее, скорчившись в три погибели, и почти не дышал. Немцы закричали громче, выругались, заплакал ребенок в углу,— откуда-то, видно с печи, спрыгнув на пол, к нему бросилась женщина, начала успокаивать. Один из немцев, лязгнув затвором винтовки, вбежал в хату—возле печи мелькнула тень,— громче закричали дети, загремели топчаном,—наверно, разбрасывали их постели. Иван ждал, держа руку на рукоятке автомата, хоть и не знал, как в таком положении стрелять. Немцы, громко топая сапогами, заглянули на печь, звякнули заслонкой, и сразу же луч фонарика метнулся по задней стенке подпечья. Иван даже зажмурился, ожидая крика: «Хераускрихен!!»¹ Но лучик был слабый (видно, разрядилась батарейка), немцы ничего не увидели, и сапоги застучали дальше. Вскоре шаги притихли,—видимо, искали в снях. Тогда он, все еще не шевелясь, выдохнул и опять медленно вдохнул воздух, не веря случившемуся—неужто пронесло? И действительно, шаги совсем стихли, только всхлипывали возле печи дети и мать, стуча босыми ногами, кидалась, наверно, к окнам—немецкая речь слышалась уже со двора. Там что-то говорил хозяин, по-видимому направляя солдат подальше от хаты. И в самом деле, вскоре все успокоилось. Хозяин, должно быть, вошел в сени, к нему подбежала жена, она что-то быстро-быстро затараторила, в смятении чуть не плача, но хозяин строго прикрикнул на нее: «Хватит! Замолчи!» Женщина вернулась в хату и занялась детьми. Иван хотел уже вылезти, пере-

¹ Выполни.

браться куда-нибудь в более надежное место, но хозяйка испуганно запрочитала:

— Пэтро! Пэтро! Ой лышэнько, Гриц идэ...

Иван снова притих, хозяин вышел, с минуту его не было слышно, потом во дворе раздалось язвительно-учтивое: «Добры день, герр Пэтро!» Хозяин сдержанно ответил на приветствие, там что-то щелкнуло, будто ударили кнутом по голенищу, и тот же голос буднично, словно разговор шел о пустяке, сказал:

— Кого ховаешь? А ну, пидать его сюдою!

— Никого я не ховаю. Кум Гриц! Перехрїститься, што ви?

— Ага! Никого. Што ж, пэрэвіримо! Ганна! — крикнул Гриц.

— Я тута, кумэ,— отозвалась с порога хозяйка.

— Кого Пэтро ховае, признавайся!

— Ой, хиба ж я ведаю! Никого ж вин нэ ховае, кум Гриц.

— Нэ ховае! А ну, Настусю, скажи: де татко ховае бандита?

— Нэ видаю,— ответил боязливый детский голосок.

— Нэ видаетэ! Побачимо,— многозначительным спокойным тоном прогнусавил Гриц.

У Ивана в подпечье от злости на этого выродка даже опемели скулы — так захотелось выскочить и всадить ему в брюхо десяток пуль. Но он не знал, сколько еще там подручных, и снова недоброе предчувствие завладело им: он понял, что этот — не немец, свое дело он выполняет как полагается.

— Глух, нэси солому. Ты, Жупан, тэж. Заразы дознаемось, дэ вин ховаеця. Мы його пидсмажэмо.

На дворе затопали шаги, скрипнули где-то поблизости двери,— видно, побежали в сарайчик; Иван понял, что задумал этот, не дожить бы ему до воскресенья, Гриц. «Неужели они решатся поджечь, неужели так поступят со своим человеком, который этого негодяя еще называет кумом?» — мучительно думал Иван.

Под окнами что-то зашуршало, свет в подпечье померк,— наверное, положили солому, заметил про себя Иван, потом все притихли, не стало слышно ни шагов, ни разговора. И вдруг отчаянно и дико закричала женщина, можно было подумать, будто жгут ее самое, а не хату. За ней заголосили дети, сразу же зачадило дымом, Иван понял, что все пропало и что сгорит сам и еще загубит детей. Видно, надо было вылезать и пристрелить этого мерзавца, но у него все еще теплилась надежда — может, не подожгут, только пугают. Опять же, дать загореться хате, а уж потом вылезти — не слишком ли велика кара для него и для этой семьи! Иван не знал, что делать, хоть и понимал, что надо в считанные секунды на что-то решиться.

Видно, он все же выскочил бы из подпечья (он уже был готов к этому), как вдруг с причитаниями и проклятьями в хату кинулась хозяйка. Прежде чем он успел догадаться зачем, она затопала возле печи и, согнувшись, сквозь слезы закричала:

— Вилазы! Вилазы! Хату палять з-за тэбэ, проклятый! Душегуб, звидкиля тэбэ принесло? Вилазы!

Иван с облегчением вздохнул: вот и кончилось все (хотя такого конца он не ждал), сунул автомат под мусор в углу и вылез. Злости на эту женщину у него не было, стало только обидно и жалко, что так глупо оборвался такой долгий и такой трудный путь...

Он ступил на порог — отрешенный от всего и спокойный. Во дворе на него по-волчьи уставились четверо мужиков, среди которых особенно выделялся один — здоровенный верзила в светлых коротких штанах и с голубой повязкой на рукаве, — это, видно, и был Гриц. В руках он держал немецкий карабин на взводе, Иван определил это по затвору и подумал, что убить его тут они не посмеют — должны сдать немцам.

Так оно и случилось.

10

Непрестанно ощущая в себе тревогу, Иван оглядывался и вслушивался, боясь, чтоб немцы не пустили собак, но время шло, а кругом было тихо. Тогда пришла уверенность, что австриец их все же не выдал, а мотоциклисты их следов не нашли и пока оставили беглецов в покое. К тому же, видимо, они забрали труп сумасшедшего, — было с чем возвратиться в лагерь. От таких мыслей тревожное возбуждение постепенно улеглось, уступив место другим заботам и помыслам.

Расसेлина, напоминающая глубокий кривой коридор, постепенно сужалась, вела и вела их вверх. Почти не останавливаясь, они лезли по ее дну

часа четыре, если не больше. Стало холодно, и, наверное, от высоты слегка закладывало уши. Солнце так ни разу и не заглянуло сюда; наконец исчезла за облаками и сияющая голубизна вверху — сизые клочья тумана, цепляясь за острые вершины утесов, быстро неслись над расселиной. Откуда-то подул, все больше усиливаясь, порывистый ветер, похолодало так, что не согревала и ходьба. Они не могли увидеть отсюда, как далеко отошли от города, но Иван чувствовал, что взобрались высоко, иначе не пробирала бы так стужа. И все же тужурку с завернутым в нее хлебом парень не надевал. Он понимал, что главное еще впереди, что похолодает сильнее, возможно, придется идти по снегу. Правда, о себе Иван не очень беспокоился, он мог бы идти и быстрее. Хоть и устал, хоть и болели сбитые на камнях ноги, но он был еще способен на большее — в который раз выручала его природная сила, нетребовательность к условиям жизни и, конечно, суровая армейская закалка. Не раз, бывало, на войне и в плену другие выбивались из сил, ослабевали и падали от голода, усталости и бессонницы, а он все выдерживал. Он начал уже думать, что и сейчас как-нибудь перетерпит, перейдет хребет (не может того быть, чтоб не перешел), лишь бы только жить — вынесет, вытерпит все — на свободе, не в лагере.

Вот только Джулия...

Девушка с заметным усердием лезла за ним и теперь почти не отставала, но он, часто оставаясь, испытующе и настороженно поглядывал на нее. Чувствуя его внимание, Джулия каждый раз старалась улыбнуться в ответ, сделать

вид, что все хорошо, что она ничего не боится и у нее еще не иссякли силы. Однако несвойственная ее порывистой натуре замедленность движений красноречивее всего свидетельствовала о чрезмерной ее усталости.

И вот, выйдя из-за поворота, они увидели, что приютившая их расселина оборвалась, упершись в крутую скалу. Хоть и не хотелось, все же надо было вылезать наверх — на голые, открытые ветру скалы.

Иван повернул на крутой склон, вскарабкался почти до самого верха и, опустившись на одно колено, подождал Джулию. Она лезла несколько медленнее, опустив голову; Иван оперся ногой о выступ, подал ей руку. Девушка вцепилась в нее своими мягкими холодными пальцами, и он потащил ее вверх.

Они выбрались на голый, крутой каменистый гребень, но ничего вокруг не успели увидеть. Сразу им в грудь ударил упругий ветер, сверху нахлынули, обволокли все вокруг рваные клочья тумана, стремительная промозглая мокрядь закрыла небо, словно холодным паром окутала их. Правда, туман не был сплошным — в редких его разрывах там и сям мелькали мрачные скалы, далекие просветы, но рассмотреть местность было нельзя. Тогда они остановились, Джулия прислонилась плечом к выступу скалы, ветер рвал их одежду, трепал ее волосы. Стало еще холоднее. Иван развернул на земле потертую, из желтой кожи, ту- журку, вынул из нее хлеб и шагнул к Джулии.

— О, нон... Нет! Я тепло,— сверкнула она на парня оживившимися вдруг глазами и вскинула

навстречу руку. Иван молча накинул на худые острые плечи куртку, девушка, закутавшись в нее, зябко съежилась, вобрала в воротник голову. Он присел рядом.

— Иль панэ — хляб! — поняв его намерение, сказала она и проглотила слюну.

Иван прежде всего внимательно осмотрел буханку, прикинул на руке, будто определяя вес и ту самую минимальную норму, которую они могли позволить себе в этот раз, и вздохнул: уж очень мизерной оказалась она. Джулия опустила на землю и подвинулась к нему. Боясь раскрошить буханку, Иван не стал отламывать от нее, а поднял острый обломок камня и, примерившись, начал осторожно отрезать кусочек. Девушка с каким-то радостным умилением в глазах покорно следила за движениями его пальцев, глядя, как он режет и как делит отрезанное пополам, отламывая от одной половины и прибавляя к другой.

— Хорошо?

— Си, си. Карашо.

Снова будто не стало ни стужи, ни усталости, Джулия засияла глазами, с нетерпением ожидая, когда будет разрешено съесть эту пайку. Но Иван с завидной выдержкой еще раз подровнял куски и лишь тогда сказал девушке:

— А ну, отвернись.

Она поняла, не вынимая из-под тужурки рук, быстро повернулась, и он прикоснулся пальцем к кусочку с добавкой:

— Кому?

— Руссо! — с готовностью сказала она и обернулась.

Иван бережно взял маленький кусочек, чуть быстрее схватила второй она.

— Гра... Спасибо, руссо.

— Не за что,— сказал Иван.

— Руссо! — торопливо жуя и кутаясь в тужурку, позвала Джулия.— Как имеется твой имя? Иван, да?

— Иван,— слегка удивившись, подтвердил он.

Она заметила его удивление и, откинув голову, засмеялась:

— Иван! Джулия угадаль! Как его угадаль?

— Не трудно угадать.

— Все, все руссо — Иван? Правда?

— Не все. Но есть. Много.

Она оборвала смех, устало вздохнула, крепче запахнула тужурку и незаметно поглядела на остаток буханки. Иван, медленно доедая свой кусок, заметил этот ее красноречивый взгляд и взял буханку, чтоб сунуть ее за пазуху. Но не успел он расстегнуть куртку, как Джулия вдруг ойкнула и в изумлении застыла на месте. Почувяв неладное, он глянул на девушку и увидел на ее лице испуг,— широко раскрытыми глазами она уставилась на что-то поверх его плеча. Так, с хлебом в руке, Иван обернулся и увидел то, что испугало Джулию.

Поодаль в прогалине, опершись на расставленные руки, сидел на скале страшный гефтлинг. Лысый череп его на тонкой шее торчал из широкого воротника полосатой куртки, на которой чернел номер и винкель, а темные глазницы-провалы, будто остановившись, неотрывно глядели на них. Увидев в руках Ивана хлеб, он встрепенулся и, подпрыгивая на месте, начал хрипло выкрикивать:

— Брот! Брот! Брот!

Потом вдруг оборвал крик, поежился и уже совсем человеческим, полным отчаяния голосом потребовал:

— Гиб брот!

— Ге, захотел чего! — саркастически усмехнулся Иван, глядя на него. Сумасшедший несколько секунд выждал и с неожиданной злобой начал кричать:

— Гиб брот! Гиб брот! Их бешайнэ гестапо! Гиб брот! ¹

— Ах, гестапо! — Иван поднялся на ноги. — А ну, марш отсюда! Ну, живо!

Он угрожающе двинулся к безумцу, но не успел сделать и нескольких шагов, как тот соскочил со скалы и удивительно ловко сбежал вниз.

— Гиб брот — никс гестапо! Никс брот — гестапо ².

— Ах ты собака! — закричал сквозь ветер Иван. Его охватил гнев, появилось желание догнать гефтлинга, но тот из предосторожности отбежал еще дальше. Заметив, что Иван остановился, он тоже стал.

— Гиб брот!..

Иван сунул руку за пазуху, немец застыл, ожидая, но парень выхватил пистолет и щелкнул курком.

— Пистолет! — в испуге крикнул сумасшедший и бросился назад.

¹ Дай хлеба! Дай хлеба! Я донесу в гестапо! Дай хлеба!

² Дай хлеба — не буду гестапо! Не дашь — гестапо!

Иван прикусил губу; сзади к нему подскочила Джулия.

— Дать он хляб! Дать хляб! — испуганно заговорила она.

Сумасшедший между тем отбежал, приостановился и, оглядываясь, быстро зашагал вниз.

— Иван, дать хляб! Дать хляб! Нон гестапо! — тревожно требовала девушка.

Продажная шкура, думал Иван, злобно глядя на покачивающуюся фигуру немца. Конечно, с ним шутки плохи — наделает крику и выдаст ээсманам, — что возьмешь с дурака! И убить жалко, и отвязаться невозможно. Придут с собаками, нападут на след — считай, все пропало.

— Эй! — крикнул Иван. — На брот!

Тот, ухватившись за скалу, остановился, оглянулся, и вскоре сквозь ветер донесся его голос:

— Никс... Ду шиссен! Их бешайнэ гестапо!

И снова подался вниз.

— Пошел к черту! Никс шиссен! На вот... на!

Иван действительно отломил от буханки кусок и поднял его в руке, чтобы сумасшедший увидел. Джулия, стоя рядом, дрожала от стужи и с беспокоейством глядела на гефтлинга. А тот помедлил немного и опустился на выступ скалы. К ним он подходить боялся.

— Ах ты собака! — закричал Иван, теряя терпение. — Ну и черт с тобой! Иди в гестапо. Иди!

— Иван, нон гестапо! Нон, Иван! — затормошила его за рукав Джулия. — Дать немножко хляб! Нон гестапо!..

— Черта с два ему хляб! Пускай идет!

— Он плохо гефтлинг. Он кранк. Он гестапо...

Иван не ответил, положил за пазуху половину буханки, пистолет и пошел на прежнее место, вверх. Джулия молча шла рядом. Он чувствовал, что так обращаться с этим сумасшедшим было опасно, но теперь уже не мог уступить — злобная вспышка оказалась сильнее благоразумия. Джулия изредка оглядывалась, но на них налетела мгла, — кроме серого нагромождения скал, кругом ничего не стало видно — внизу и по сторонам стремительно неся, клубился, рвался промозглый туман. Неизвестно было, остался ли гефтлинг на месте или, может, действительно повернул обратно. Заметив на лице девушки тревогу, Иван бросил:

— Никуда он не пойдет. Врет все.

Он успокаивал ее, но сам уверенности в этом не испытывал. Черт знает, от каких только мерзавцев зависит жизнь человека! Вот ведь больной, а выжил, прорвался в горы, ускользнул от облавы, убежал из-под пуль, разве удалось бы это кому-нибудь стоящему? А этот жив и еще замахивается на жизнь других. Просто хотелось заскрежетать зубами от бессильной ярости, вспомнив, сколько самых лучших ребят разных национальностей полегло в лагерях. Но к чему скрежет — надо перетпеть, перенести все — иначе смерть!

Они уже двинулись было в обход огромного слоистого выступа, когда Иван оглянулся и сунул руку за пазуху. Джулия также посмотрела назад, но сумасшедшего нигде не было видно. И все же Иван достал кусок хлеба, вернулся и, поискав удобное место, положил его на камень, у которого они недавно сидели.

— Ладно! Пусть подавится! — будто оправдываясь, проговорил он.

Джулия согласно молчала, — видно, она слишком хорошо знала, что такое предательство.

11

Ветер гнал и гнал бесконечные космы тумана, куртка на Иване отсырела, дрожь то и дело сотрясала тело. Он часто оглядывался, начиная сомневаться, найдет ли оставленный хлеб сумасшедший. Появилось даже желание вернуться, забрать этот хлеб и съесть самому. Чтобы как-то отделаться от навязчивых мыслей, он быстро зашагал дальше.

Вскоре они обошли гигантский выступ, который окаменевшим птичьим хвостом торчал в небо, взобрались выше. Вдруг туманное облако перед ними разорвалось, и беглецы увидели впереди голый каменный склон и взбегавшую на него тропку. Не круто петляя по камням, она куда-то вела наискось по склону. Тропинка была не очень заметной в этом нагромождении скал, но все же они сразу обнаружили ее и удивленно обрадовались.

Иван первым ступил на нее, оглянулся назад — там, среди прядей тумана, по-прежнему мелькали мрачные скалы, пропасти, кое-где проплывала сияя даль. Вверху, в высоком затуманенном небе, горел освещенный солнцем пятнистый, густо заснеженный хребет. Правда, внимательнее присмотревшись, Иван обнаружил, что хребтов там два: дальний — могучий и широкий, похожий на огром-

ную неподвижную медвежью спину, и ближний — зубчатый, чуть присыпанный снегом, который казался выше всех гор и почти в самое небо упирался крайней своей вершиной. Эта вершина выглядела отсюда самой большой, но Иван уже постиг обманчивый закон гор, когда самая ближняя из вершин кажется и самой высокой. Видно, все же главным тут был тот дальний — Медвежий хребет, и думалось, что за ним находится желанная цель их побега — партизанский Триест.

Здрав голову, Иван с минуту всматривался вверх, в этот порог на их пути в будущее, страстно надеясь, что погони больше не будет, что самое страшное они преодолели, что люди уже не встретятся на их пути — теперь им противостояла только природа, для борьбы с которой нужна была лишь сила и выносливость. Затем взглянул на притихшую спутницу, которая, будто зачарованная суровым великолепием гор, также вглядывалась в снежные хребты. И тогда, пожалуй впервые, у него появилась тихая радость оттого, что перед грозной неизвестностью природы он не одинок, что рядом есть человек. Почувствовав душевное удовлетворение, он с легким сердцем произнес любимое с детства слово:

— Айда!

Вряд ли она знала это слово, но теперь настолько созвучны были их чувства, что она поняла его и подхватила:

— Айда!

И они пошли по тропке, что опоясывала голый скалистый косогор. Вверху, в разрывах тумана, неудержимо ярко блеснуло низкое солнце, под его

лучами ключья облаков преобразились и ослепительной белизной засияли на склонах гор; по скалам и безднам быстро помчались черные лоскутья теней и, чередуясь с ними, яркие пятна света. Ветер не утихая рвал Иванову куртку, пузырем надувал штаны. Джулия подняла кожаный воротник тужурки. Они взобрались выше. Освещенные солнцем, отчетливо стали видны черная щель расселины, каменные косогоры, на одном из которых, отбросив длинную тень, стала видна торчащая ребристая скала. Иван взглянул вниз и остановился: на том месте, где они сидели недавно, топтался безумный гефтлинг.

— Гляди ты — привязался.

— Траджико челёвек,— сказала Джулия.— Пеккато — жалко!

— Чего жалеть? Сволочь он.

— Он хочет руссо идет. Но руссо бёзе. Он бояться.

— И правильно делает,— коротко заметил Иван.

Он двинулся дальше, мысленно отмахнувшись от сумасшедшего, хотя иметь сзади такой хвост было не очень приятно. Но что поделаешь с большим — и отогнать не отгонишь, и убежать некуда. Придется, видно, потерпеть так до ночи.

— Иван,— сказала девушка, делая ударение на и,— ты не имель зло Джулия?

— А чего мне злиться?

— Ты нон бёзе?

— Можешь не бояться.

— Нон бояться, да? — улыбнулась она.

— Да.

Однако улыбка скоро сбежала с ее усталого лица, которое стало сосредоточенным, видимо отразив невеселый ход ее мыслей.

— Джулия руссо нон бояться. Джулия снег бояться.

Иван, идя впереди, вздохнул: в самом деле, снег и такой скудный запас хлеба все больше начинали беспокоить его. Он подумал уже, что надо было у лесника прихватить еще что-нибудь и обязательно обувь — ведь с голыми ногами было более чем глупо лезть в такой снег. Хотя, как всегда, хорошие мысли появлялись слишком поздно. Вначале они, конечно, не думали, что доберутся до снежных вершин, — тогда счастьем казалось ускользнуть от облавы. И так спасибо австрийцу — если бы не он, хлеба у них не было бы. Иван быстро шел по тропке, сбоку по косогору волочились, мелькали две длинные, до самого низа, тени. Утешать спутницу он не хотел, только сказал:

— Куртка у тебя есть. Чего бояться? Манто не жди.

Девушка вздохнула и, помолчав, вспомнила с грустью:

— Рома Джулия много манто имел. Фир манто — черно, бело...

Он насторожился и замедлил шаг.

— Что — четыре манто?

— Я. Фир манто. Четири, — уточнила она по-русски.

— Ты что — богатая?

Она засмеялась:

— О, нон богата. Бедна. Политише гефтлинг.

— Ну, не ты — отец. Отец твой кто?

— Отец?

— Ну да, фатер. Кто он?

— А, ла падре! — поняла она. — Ла падре — коммерсанто. Диретторе фирма.

Он тихо присвистнул. «Ну и ну! Не хватало еще, чтобы этот фатер оказался фашистом, вот была бы прогулочка по Альпам!» — подумал он и резко обернулся:

— Фатер фашист?

— Си, фашисто, — просто ответила Джулия, живо взглянув в его посуровевшие глаза. — Командор милито.

— Еще лучше!

Он сошел на край тропки, дал девушке поравняться с собой и с впервые пробудившимся интересом оглядел ее стройную, складную, хотя и неказисто одетую фигурку. Но странное дело, эта полосатая, с чужого плеча одежда всей своей нелепостью не могла обезобразить ее врожденного девичьего обаяния, которое проглядывало во всем: и в гибкости и точности движений, и в ласковой приятности лица, и в манере смеяться — заразительно и радостно. Она покорно и преданно посматривала на него, руки спрятала в рукава тулжурки и привычно постукивала по тропке своими неуклюжими клумпесами.

— А ты что ж... Тоже, может, фашистка? — с внутренней настороженностью спросил Иван.

Девушка, наверно, почувствовала плохо скрытое подозрение и кольнула его глазами.

— Джулия фашиста? Джулия — коммуниста! — объявила она с достоинством.

— Ты?

— Я!

— Врешь! — после паузы недоверчиво сказал он. — Какая ты коммунистка?

— Коммуниста. Си. Джулия коммуниста.

— Что, вступила? И билет был?

— О, нон. Нон латераро. Формально нон. Моральментэ коммуниста.

— А, морально!.. Морально не считается.

— Почему?

Он промолчал. Что можно было ответить на этот наивный вопрос? Если бы каждого, кто называет себя коммунистом, так и считать им, сколько б набралось таких! Да еще буржуйка, кто ее примет в партию? Болтает просто. Несколько приглушив свой интерес, Иван пошел быстрее.

— У нас тогда считается, когда билет дадут.

— А, Русланд? Русланд иначе. Я понимают. Русланд советика.

— Ну конечно. У нас не то, что у вас, буржуев.

— Советика очень карашо. Эмансипационе. Либерта. Братство. Да?

— Ну.

— Это очень, очень карашо, — проникновенно говорила она. — Джулия очень, очень уважалъ Русланд. Нон фашизм. Нон гестапо. Очень карашо. Иван счастлив свой страна, да? — Она по тропке подбежала к парню и обеими руками обхватила его руку выше локтя. — Иван, как до война жиль? Какой твой дэрэвня? Слюшай, тебя синьорина, дэвушка любиль? — вдруг спросила она, испытующе заглядывая ему в глаза. Иван безразлично отвел глаза, но руки не отнял, — от ее ласковой близости у него вдруг непривычно защемило внутри.

— Какая там девушка! Не до девчат было.

— Почему?

— Так. Жизнь не позволяла.

— Что, плёхо жиль? Почему?

Он спохватился,— сказал не то,— о своей жизни он не хотел говорить, тем более что у нее было, видимо, свое представление о его стране.

— Так. Всякое бывало.

— Ой, неправдо, неправдо.— Она хитро скосила на него быстрые глаза.— Любиль много синьорино.

— Куда там!

— Какой твой провинция? Какой место ты жиль? Москва? Киев?

— Беларусь.

— Беларусь? Это провинция такой?

— Республика.

— Република? Это карашо. Италия монархия. Монтэ — горы ест твой република?

— Нет. У нас большие леса. Пуши. Реки, озера. Озера самые красивые,— певольно отдаваясь воспоминаниям, заговорил он.— Моя деревня Терешки, как раз возле двух озер. Когда в тихий вечер взглянешь — не шелохнутя. Словно зеркало. И лес висит вниз вершинами. Ну как нарисованный. Рыба плещется. Щуки — во!

Он выпалил сразу слишком много, сам почувствовал это и умолк. Но растревоженные воспоминанием мысли упрямо цеплялись за далекий родной край, и теперь в этом диком пагроможденнии скал ему стало так невыносимо тоскливо, как давно уже не было в плену. Она, видно, почувствовала это и, когда он умолк, попросила:

— Говори еще. Говори твой Беларусь.

Солнце к тому времени опять скрылось за серыми облаками. На гладкий косогор надвинулась стремительная тень, дымчатые влажные ключья быстро понеслись по склону.

Сначала не очень охотно, часто прерываясь, будто заново переживая давнишние впечатления, он как о чем-то далеком, дорогом и необыкновенном начал рассказывать ей об усыпанных желудями дубравах, о бобровых хатках на озерах, о прохладном березовом соке и целых рощах ароматной черемухи в мае. Давно он не был таким говорливым, давно так не раскрывалась его душа, как сейчас,— он просто не узнавал себя. Да и она, с ее неподдельным интересом ко всему родному для него, сразу стала ближе, будто они были давно знакомы и только сейчас встретились после долгой нелегкой разлуки.

Наконец он умолк. Она медленно высвободила его руку и, свободнее взяв за шершавые пальцы, спокойно спросила:

— Иван, твой мама карашо?

— Мама? Хорошая.

— А ла падре — отец?

Она мечтательно поглядывала на склон и не заметила, как дрогнуло его мгновенно помрачневшее лицо.

— Не помню.

— Почему? — удивилась она и даже приостановилась. Он не захотел останавливаться, сцепленные их руки вытянулись.

— Умер отец. Я еще малый был.

— Марто? Умиор? Почему умиор?

— Так. Жизнь сломала.

Она деликатно выпустила его руку, зашла сбоку, ожидая, что он скажет что-то важное, разъяснит то, что она не поняла, но он уже не хотел ни о чем говорить. Через несколько шагов она спросила:

— Иван, обида? Да?

— Какая обида?..

— Ты счастливо, Иван! — не дождавшись его ответа и, видно, поняв это по-своему, серьезно заговорила Джулия. — Твой большой фатерланд! Такой колоссаль война побеждат. Это большой, большой фортуна. Обида ест, маленько обида. Не надо обида, Иван...

Он не ответил, только вздохнул, уклоняясь от этого разговора. Действительно, зачем ей знать о том трудном и сложном, что было в его жизни?

12

Так думал он, карабкаясь по крутой тропе вверх, уверенный, что поступает правильно. В самом деле, кто она эта красотка, нелепой случайностью войны заброшенная в фашистский концлагерь, — кто она, чтоб выкладывать ей то трудное, что в свое время отняло столько душевных сил у него? Примет ли ее, пусть и чуткая, честная душа суровую правду его страны, в которой дай бог разобраться самому? Разве что посочувствует, но сочувствие ему ни к чему, за двадцать пять лет жизни он привык обходиться без него. Поэтому пусть лучше все будет для нее хорошим, именно

таким, каким она это себе представляет. И он смолчал.

Отдавшись раздумью, Иван тем не менее шел быстро и не замечал времени. Джулия, поняв, что задела слишком чувствительную струну в его душе, тоже умолкла, немного приотстала, и они долго молча взбирались по склону. Между тем на величественные громады гор спустился тревожный ветреный вечер. Горы начали быстро темнеть, сузились и без того сжатые тучами дали; исчез серебристый блеск дальнего хребта, туманное марево без остатка поглотило его. На фоне чуть светлого неба чернели гигантские близнецы ближней вершины. В седловине, вероятно, был перевал, туда и вела тропа.

Обычно вечер угнетающе действовал на Ивана. Ни днем, ни ночью, ни утром не было так тоскливо, так бесприютно тревожно и тягостно, как при наступлении сумерек. Со всей остротой он почувствовал это в годы войны, да еще в плену, на чужой земле — в неволе, в голоде и стуже. Вечерами особенно остро донимало одиночество, чувство незащитности, зависимости от злой и неумолимой вражеской силы. И нестерпимо хотелось мира, покоя, родной и доброй души рядом.

— Иван!..— неожиданно позвала сзади Джулия.— Иван!

Как всегда, она сделала ударение на «и», это было непривычно, вначале даже пугало, будто поблизости появился еще кто-то, кроме них двоих. Иван вздрогнул и остановился.

Ничего больше не говоря, Джулия молча плелась меж камней, и он без слов понял, в чем дело.

Сразу видно было, как она устала, да и сам он чувствовал, что необходимо отдохнуть. Но в этой заоблачной выси стало нестерпимо холодно, бушевал, рвал одежду, гудел в расщелинах ошалевший ветер. Зябли руки, а ноги так совсем окоченели от стужи. Холод же все крепчал, усиливался к ночи и ветер. Всей своей жестокой, слепой силой природа обрушивалась на беглецов. Иван спешил, хорошо понимая, что ночевать тут нельзя, что спасение только в движении, и если они в эту ночь не одолеют перевала, то завтра уже будет поздно.

— Иван,— сказала, подойдя, Джулия,— очень уставаль.

Он переступил с ноги на ногу — ступни болели, саднили, но теперь он старался не замечать этого — и озабоченно посмотрел на Джулию:

— Давай как-нибудь... Видишь, хмурится.

Из-за ближних вершин переваливалась, оседая на склонах, густая темная туча. Небо постепенно гасило свой блеск, тускло померцала и исчезла в черной мгле крошечная одинокая звезда; все вокруг — скальные громады, косогоры, ущелья и долины — заволокла серая пелена облаков.

— Почему нон переваль? Где ест переваль?

— Скоро будет. Скоро,— обнадеживал девушку Иван, сам не зная, как долго еще добираться до седловины.

Они снова двинулись по едва приметной на каменистом грунте тропинке. Иван боялся теперь потерять спутницу и, прислушиваясь к привычному стуку ее колодок, ступал несколько медленнее. На крутых местах он останавливался, ждал девушку, подавал ей руку и втаскивал наверх, сам при этом

еле удерживая в груди сердце. А ветер бешено трепал одежду, тугими толчками бил то в спину, то в грудь, забывая дыхание, свистел в камнях, часто меняя направление,— не понять было, с какой стороны он дует.

Вскоре совсем стемнело, громады скал слились в одну непроглядную массу, черное беспросветное небо сомкнулось с горами. Стало так темно, что Иван то и дело начал оступаться, наткнуться на камни, несколько раз больно ушиб ногу, и тогда впервые им овладело беспокойство — где тропа? Он согнулся, внимательно взгляделся, попробовал нащупать тропу ногами, но кругом были острые ребра камней, и он понял, что они заблудились.

Выпрямившись, он отвернулся от ветра и стал ждать, пока подойдет девушка. Когда та доковыляла до него, Иван бросил: «Постой тут», а сам пошел в сторону. Джулия приняла это молча, почти равнодушно, сразу опустилась наземь и скорчилась от холода. Он же, сдерживая в душе тревогу, отошел еще дальше, всматриваясь под ноги и время от времени ощупывая камни руками — тропы не было. Постепенно в воздухе что-то замерцало, он протянул руку и понял: это пошел снег. Мелкая редкая крупа косо неслась из ветреной черной мглы, понемногу собираясь в ямках и щелях. Иван стоял, вглядываясь в темноту и напряженно думая, что делать дальше. Снег, однако, сгустился, внизу постепенно светлело, и вдруг он увидел неподалеку извилистый обрывок тропы.

— Эй, Джулия! — тихо позвал он.

Девушка почему-то не откликнулась, он, продрогнув, с растущей досадой в душе ждал. «Что

она там, заснула? Вот еще дал бог попутчика! По бульварам с такой прогуливаться», — сердился он. Ветер по-прежнему люто бился о скалы, снежная крупа густо сыпалась с неба, шуршала по камням; совсем зашлись от холода ноги. Руки он спрятал в рукава; за пазухой жег тело настывший пистолет.

— Эй, Джулия!

Она не ответила, и он, выругавшись про себя, с неохотой, осторожно ступая на мокрые холодные камни, пошел туда, где оставил ее.

Джулия сидела на камне, скорчившись в три погибели, прикрыв колени тужуркой. Она не отозвалась, не подняла головы при его приближении, и он, предчувствуя недоброе, молча остановился перед ней.

— Баста, Иван!¹ — тихо проговорила она, не поднимая головы.

Он промолчал.

— Как это баста? А ну, вставай!

— Нон вставай. Нет вставай.

— Ты что — шутишь?

Молчание.

— А ну, поднимайся! Еще немного — и перевал. А вниз ноги сами побегут.

Молчание.

— Ну, ты слышишь?

— Финита². Нон Джулия марш. Нон.

— Понимаешь, нельзя тут оставаться. Закочеем. Видишь — снег.

¹ Все, Иван (*итал.*).

² Конец (*итал.*).

Однако слова его на девушку не производили никакого впечатления. Иван видел, что она изнемогла, и начал понимать бесполезность своих доводов. Но как заставить ее идти? Подумав немного, он достал из-за пазухи помятую краюшку хлеба и, отвернувшись от ветра, бережно отломил кусочек мякиша.

— На вот хлеба.

— Хляб?

Джулия встрепенулась, сразу подняла голову. Он сунул ей в руки кусочек, и она быстро съела его.

— Еще хляб?

— Нет, больше не дам.

— Малё, малё хляб. Дай хляб! — как дитя, капризно потребовала она.

— На перевале получишь.

Она сразу замкнулась и съежилась.

— Нон перевал!

— Какой черт нон? — вдруг закричал Иван, рассердившись. — А ну, вставай! Ты что надумала? Замерзнуть? Кому ты этим зло сделаешь? Немцам? Или ты захотела им помочь: в лагерь вернуться. Ага, они там тебя давно ждут! — кричал он, захлебываясь от ветра.

Она, не меняя положения, вскинула голову:

— Нон лагерь!

— Не пойдешь в лагерь? Куда же ты тогда денешься?

Она замолчала и снова поникла, сжалась в маленький живой комочек.

— Замерзнешь же! Чудачка! Загнешься к утру, — смягчившись, убеждал он.

Ветер сыпал снежной крупой, крутил вверху и между камней. Хотя снег был мелкий, все вокруг постепенно светлело, стала заметна тропа, проглядывались изломы камней. Без движения, однако, тело быстро остывало и содрогалось от стужи, переносить которую становилось уже невозможным.

— А ну, вставай! — Иван рванул ее за тужурку и по-армейски сурово скомандовал: — Встать!

Джулия, помедлив, поднялась и тихо поплелась за ним, хватаясь за камни, чтобы не упасть. Иван, насупившись, медленно шел к тропе. Он уже начал думать, что все как-нибудь обойдется, что самое худшее в таком состоянии сбиться с ритма, хотя бы присесть и тогда потребуется значительно большее усилие, чтобы встать. Вдруг уже возле самой тропы сильный порыв ветра стеганул по лицам снежной крупой и так ударил в грудь, что они задохнулись и Джулия упала.

Иван попытался помочь ей подняться, взял девушку за руку, но она не вставала, закашлялась и долго не могла отдышаться. Наконец, сев на камень, тихо, но твердо, как об окончательно решенном, сказала:

— Джулия финита. Аллес! Иван Триесте. Джулия нон Триесте.

— И не подумаю.

Иван отошел в сторону и тоже сел на выступ скалы.

— А еще говорила — коммуниста, — упрекнул он. — Паникер ты!

— Джулия нон паникор! — загорячилась девушка. — Джулия партиджяно.

Иван уловил нотки обиды в ее голосе и ухватился за них. «Может быть, это растревожит ее»,— подумал парень.

— Трусиха, а кто ж ты?

— Нон трусиха, нон паникор. Силы малё.

— А ты через силу,— уже мягче сказал он.— Знаешь, как однажды на фронте было? На Остфронте. Куда ты собиралась. Окружили нас фрицы в хате. Не выйти. Бьют из автоматов в окна. Кричат: «Рус, сдавайсь!» Ну, комвзвод наш Петренко тоже говорит: аллес, капут. Взял пистолет и бах себе в лоб. Ну и мы тоже хотели. Вдруг ротный Белошеев говорит: «Стой, хлопцы! Застрелиться и дурак сумеет. Не для того нам Родина оружие дала. А ну, говорит, на прорыв!» Выскочили мы все в двери да как ударили из автоматов и кто куда—под забор, в огороды, за угол. И что думаешь: вырвались. Пятеро, правда, погибло. Белошеев тоже. И все же четверо спаслись. А послушались бы Петренко, только бы на руку немцам сыграли: никого и стрелять не надо, бери и закапывай.

Джулия молчала.

— Так что, пошли?

Она не ответила.

— Ну какого черта молчишь?— весь дрожа от холода, начал терять терпение Иван.— Замерзнешь же, глупая. Стоило убежать! Столько лезть под самое небо?!

Она продолжала молчать.

— На кой черт тогда они себя подорвали!— сказал он, вспомнив погибших товарищей.— Надо, чтоб хоть кто-нибудь уцелел. А ты уже и скисла.

Он вскочил, чувствуя, что насквозь промерз на ветру, зашагал по тропе — на сером снегу отпечатались темные следы его босых ног. Хорошо еще, что не было мороза, иначе им тут верная смерть. Минуту спустя он решительно остановился напротив Джулии.

— Так не пойдешь?

— Нон, Иван.

— Ну, как хочешь. Пропадай,— сказал он и тут же потребовал: — Снимай тужурку.

Она слабо зашевелилась, сняла с себя тужурку, положила ее на камень. Потом сбросила с ног колодки и поставила их перед ним. Иван застывшей ногой отодвинул колодки в сторону.

— Оставь себе... В лагерь бежать.

Он напялил на свои широкие плечи тужурку, запахнулся, сразу стало теплей. Парень чувствовал, что между ними что-то навсегда рушится, что нельзя так относиться к женщине, но у него теперь прорвалась злость к ней, казалось, будто она в чем-то обманула его, и потому Ивану невольно хотелось наказать ее. Мысленно выругавшись, он, однако, почувствовал, как это трудно — уйти, расставание оказалось до нелепости грубым, хотя он старался заглушить все это злостью. И все же он не мог не понимать, что Джулии было очень трудно и что она по-своему была права, так же как в чем-то был несправедлив он,— Иван чувствовал это, и его злость невольно утихала.

Он сделал шага два по тропинке и повернулся к ней:

— Что ж, прощай!

— Чао! — сжавшись на камне, тихо и, похоже,

совсем безразлично сказала она. Это слово сразу напомнило ему их вчерашнюю встречу, и тот радостный блеск в ее сверкающих глазах, удививший его в лесу, и ее безрассудную смелость под носом у немцев, и Ивану стало не по себе. Это не было ни жалостью, ни сочувствием — что-то незнакомое защемило в груди, хотя вряд ли он мог в чем-нибудь упрекнуть себя и, пожалуй, ничем не был обязан ей.

«Нет, нет! — сказал он себе, заглушая эту раздвоенность. — Так лучше!» Одному легче уйти, это он знал с самого начала. Ему вообще не надо было связываться с ней, теперь у него на плечах тужурка, немного хлеба — на одного этого хватит дольше, он будет экономить — съедать по сто граммов в день. Один он все стерпит, перейдет хребет, если бы даже пришлось ползти по пояс в снегу, — он доберется в Триест, к партизанам. Зачем связываться с этой девчонкой? Кто она ему?

Он торопливо взбежал на крутизну, будто спешил отрешиться от мыслей о ней, брошенной там, внизу, но совладать со смятением своих чувств так и не смог. Что-то подспудное в нем жило иной логикой, ноги сами замедлили шаг, он оглянулся раз, другой... Джулия едва заметным пятном темнела на склоне. И ее покорная беспомощность перед явной гибелью вдруг сломала недавнее его намерение. Иван, сам того не желая, обернулся и, не преодолев чего-то в себе, побежал вниз. Джулия, услышав его, вздрогнула и испуганно вскинула голову:

— Иванио?

— Я.

Видимо догадываясь о чем-то, она насторожилась:

— Почему?..

— Давай клумпес!

Она покорно вынула из колодок ноги, и он быстро насунул на свои застывшие ступни эту немудреную обувь, в которой еще таилось ее тепло. Затем скинул с себя тужурку.

— На. Надевай.

Все еще не вставая с места, она быстро запахнулась в тужурку, он, помогая, придерживал рукава и, когда она оделась, взял девушку за локоть:

— Иди сюда.

Она упрямо отшатнулась, вырвала локоть и застыла, уклонившись от его рук. Из-под бровей испытующе взглянула ему в лицо.

— Иди сюда.

— Нон.

— Вот мне еще нон...

Одним рывком он схватил ее, вскинул на плечо, она рванулась, как птица, затрепетала, забилась в его руках, что-то заговорила, а он, не обращая на это внимания, передвинул ее за спину и руками ухватил под колени. Она вдруг перестала биться, притихла; чтоб не упасть, торопливо обвила его шею руками, и он ощутил на щеке ее теплое дыхание и горячую каплю, которая, защекодав, покатилась ему за воротник.

— Ну ладно. Ладно... Как-нибудь...

Неожиданно обмякнув, она прильнула к его широкой спине, задохнулась... Он и сам задохнулся, но не от ветра — от того незнакомого, повелительно-кроткого, величавого и удивительно беспо-

мощного, что захлестнуло его, хлынув из неизведанных глубин души. Недавнее намерение бросить ее теперь даже испугало Ивана, и он, тяжело погромыхивая колодками, упрямо полез к перевалу.

13

Снежная крупа уже густо обсыпала шершавые камни, деревянные скользили по ним на очень крутых местах, и, чтобы не упасть с ношей, Иван старался идти боком, как лыжник при подъеме на склон. Сначала он не чувствовал тяжести ее маленького тела — слегка поддерживая ее за ноги и согнувшись, с непонятным упорством лез вверх. Но скоро порыв его все же ослабел, появилось желание остановиться, выпрямиться, вздохнуть — в груди не хватало воздуха. Правда, зато согрелся, разгоряченному телу нипочем стал горный ветер, внутри тоже горело, от удушья раздирало легкие.

Перевал, пожалуй, был близко, — подъем постепенно выравнивался, тропинка уже не петляла по заснеженному скалистому взлобью, справа возвышалось что-то серое, очевидно громада другой горы, — значит, они уже добрались до седловины. Ветер по-прежнему безумствовал в своей неумной ярости, вокруг, будто в невидимой гигантской трубе, выло, стонало, даже звенело, — впрочем, звенело, возможно, в ушах. Мороз, очевидно, крепчал, от стужи больше всего доставалось рукам и коленям. Хорошо еще, что не было мокряди, крупчатый снег не задерживался на одежде, ветер больно сек им лицо, бешено швырял в черную мглу.

197

Надо было отдохнуть, но Иван чувствовал, что если присядет, то наверняка больше уже не поднимется. И он брел час или больше, медленно поднимаясь по извилистой тропке. Джулия молча прижималась к нему — он чутко ощущал ее движения, и странное дело: несмотря на усталость, на недавний спор и досаду, он чувствовал себя хорошо. Только бы хватило силы, он согласен нести ее так, покорно припавшую к нему, далеко-далеко.

Когда уже стали подкашиваться ноги и он испугался, что упадет, из снежной, мятущейся мглы выплыл огромный черный обломок скалы. Иван свернул с тропки и, скользя по камням колодками, направился к нему. Джулия молчала, крепко прижимаясь щекой к его шее. Возле камня Иван повернулся и прислонил к нему девушку. Руки ее под его подбородком разнялись, плечам стало свободнее, и только тогда он почувствовал, какая она все же тяжелая.

— Ну как? Замерзла?

— Нон, нон.

— А ноги?

— Да,— тихо сказала она.— Нёги да.

Все время она казалась необычно тихой, будто в чем-то виноватой перед ним. Он чувствовал это, и ему хотелось как-то по-хорошему, ласково успокоить ее. Только Иван не знал, как это сделать, у него просто не находилось слов, и потому внешне он по-прежнему оставался сдержанным.

Не оборачиваясь, Иван нащупал руками ее ноги, они совсем окоченели — были холоднее, чем пальцы его рук. От его прикосновения она тихо вскрикнула и рванула ноги к себе.

— Э, так нельзя!

Она, видно, не поняла его, а он удобнее посадил ее на скалу и набрал с земли пригоршню снежной крупы.

— А ну, давай разотрем.

— Нон, нон.

— Давай, чего там нон,— незлобиво, но настойчиво сказал он, взял одну ногу, зажал ее в своих коленях, как это делают кузнецы, подковывая лошадей, и стал тереть ее снегом. Джулия дернулась, заохала, застонала, а он засмеялся: — Ну что? Щекотно?

— Болно! Болно!

— Потерпи. Я тихо.

Как можно бережнее он растер одну ее маленькую, почти детскую стопу, потом принялся за другую. Сперва девушка стонала, ойкала, потом, однако, притихла.

— Ну как, тепло? — спросил он, выпрямляясь.

— Тепло, тепло. Спасибо.

— На здоровье.

Она укутала ноги полами тужурки, а он, на минуту прислонившись спиной к настывшему камню, выровнял дыхание. Но без движения сразу стало холодно, ветер насквозь пронизывал его легкую куртку, почти не державшую тепла.

— Хлеба хочешь? — спросил он, вспомнив их прежний разговор внизу.

— Нон,— сразу же ответила она.— Джулия нон хляб. Иван эссен хляб.

— Так? Тогда побережем. Пригодится,— сказал Иван, и они почти одновременно проглотили слюну.

Чувствуя, что замерзает, он с усилием заставил себя встать и подставил ей спину:

— Ну, берись!

Молча, с готовностью она обхватила его за шею, прижалась, и ему сразу стало теплее.

— Иван,— тихо сквозь ветер сказала она, дохнув теплом в его ухо,— ду вундершон¹.

— Ну, какой там вундершон!

Однако она уже несколько освоилась у него на спине, осмелела, чувствуя к себе его расположение, и спросила:

— Руссо аллес, аллес вундершон! Да?

— Да, да,— согласился он, так как говорить о себе не привык, к тому же тропинка, казалось, вот-вот выведет их на пологое место, и он хотел одолеть крутизну как можно быстрее.

— Правда, Иван хотель пугат Джулия? Да? Иван нон бросат?

Он смущенно усмехнулся в темноте и с уверенностью, в которую сам готов был поверить, сказал:

— Ну конечно...

— Тяжело много, да?

— Что ты! Как пушинка.

— Как это — пушинка?

— Ну пушок. Такое маленькое перышко.

— Это малё-малё?

— Ну!

Он шел по тропинке, хорошо обозначившейся на свежем снегу. Его шею сзади забавно щекотало теплое дыхание девушки. Гибкие тонкие пальцы ее

¹ Ты чудесный (нем.).

вдруг погладили его по груди, и он дрогнул от неожиданной ласки.

— Ты научит меня говорить свой язык?

— Белорусский?

— Я.

Он засмеялся,— такой странной тут показалась ему эта просьба.

— Обязательно. Вот придем в Триест и начнем.

Эта мысль вдруг вызвала в нем целый рой необыкновенно радостных чувств. Неужто и в самом деле им посчастливится добраться до Триеста. найти партизан? Если бы это случилось, они бы ни за что не расстались — пошли бы в один отряд. Как это важно на чужой земле — родной человек рядом! Иван уже ощутил ее ласковую привязанность к нему, ее присутствие уже не казалось ему нежеланным или обременительным. Только теперь, пробив с нею эти два дня, он почувствовал, как одиноко прожил все годы войны — солдатская дружба тут была не в счет. Ее теплота и участие чем-то напоминали сестринское, даже материнское, когда не нужны были особенные слова, одно ощущение ее молчаливой близости наполняло его тихим счастьем.

Они вошли в седловину, по обе стороны которой высились склоны вершин, — тропинка еще немного попетляла между ними и заметно побежала вниз. В ночной темени сыпал редкий снежок.

— Переваль? — встрепенулась на его спине Джулия.

— Перевал, да.

— О, мадонна!

— Ну, а ты говорила: капут! Видишь, дошли.

Он остановился, нагнулся, чтоб взять ее поудобнее, но она рванулась со спины.

— Джулия будет сам. Данке, грацие, спасибо!

— Куда ты рвешься? Сиди!

— Нон сиди. Иван устал.

— Ладно. С горы легко.

Он не отпускал ее ног, и девушке, чтобы не свалиться, снова пришлось обхватить его шею. Она припала щекой к его застывшему плечу и пальцами шуточно потеревила давно не бритый шершавый подбородок.

— О, риччио — ёж! Колуча.

— В Триесте побреемся.

— Триесте!.. Триесте!.. — мечтательно подхватила она. — Партиджян Триесте. Иван, Джулия, тэ-дэски тр-р-р-р, тр-р-р. Фашисто своляч!

Он со сдержанной усмешкой слушал ее, старательно выбирая в темноте дорогу. Однако спускаться было ненамного легче, чем идти вверх, колодки часто скользили, от постоянного напряжения начали ныть колени; в груди, правда, стало свободней. Все время рискуя упасть, он изо всех сил держался на ногах и, где скорым шагом, а где и бегом, стремительно спускался с перевала. Джулия на его спине то и дело испуганно вскрикивала:

— О, о, Иван!

— Ничего. Держись!

Ветер тут почему-то стал тише, и оттого, казалось, потеплело. Куда вела тропа и что их ждало впереди, увидеть, однако, было невозможно.

Через некоторое время ветер почти стих, перестали мелькать снежинки, повсюду, насколько было видно, теснились запыленные снегом скалы.

Тропа кидалась то вправо, то влево, причудливо изгибаясь на каменистых склонах, которые тут стали более пологими, чем на той стороне перевала. Сильно устав, Иван пошел ровнее, не оглядываясь и только стараясь не сбиться с тропы. Джулия почему-то умолкла. Однажды он попробовал заговорить с нею, но девушка не ответила и он догадался: спит.

Незаметно задремав у него за спиной, она мерно посапывала, руки ее мягко и нежно лежали на его плечах. Тужурка, видимо, распахнулась, и сзади на своих острых лопатках Иван почувствовал мягкое тепло ее груди. Как назло, в правую колодку его попал камешек, раза два парень, не нагибаясь, повертел ногой, напрасно стараясь встряхнуть его. Идти было очень неудобно, но Иван не стал будить ее — зашагал медленнее и так еще долго шел вниз. Кажется, он и сам задремал на ходу, вдруг перестав понимать, где находится и кто у него за спиной. Но это длилось всего несколько коротких секунд, он тут же пришел в себя, почувствовал ее дыхание и успокоился. Вокруг по-прежнему толпились мрачные утесы с пятнами подтаявшего снега на склонах. Вскоре откуда-то снизу потянуло сыростью, донесся смолистый запах хвойного леса, где-то далеко, сбоку, шумел водопад, — очевидно, там было ущелье.

Под утро он спустился в зону лугов.

Снежные пятна вокруг разом исчезли, будто растаяли; стих ветер, стало тепло, только в воздухе прибавилось сырости; по камням из долины поползли влажные ключья тумана. Еще ниже на них пахнуло устоявшимся ароматом трав, цветов,

густым хвойным настоем, и он понял — самое трудное позади. Тропа где-то пропала, но идти было легко, и он не следил за ней. Пройдя еще немного, Иван почувствовал под ногами густую мягкую траву и подумал, что вот-вот упадет. Высокие, до колен стебли тугими бутонами цветов хлестали его по ногам. Джулия спокойно спала. Тогда он тихонько, чтоб не разбудить девушку, стал на колени и осторожно опустился вместе с ней на бок.

Она не проснулась.

14

Против обыкновения, в этот раз ему не приснился его всегдашний тревожный сон. Несколько часов он спал беспробудно и глубоко, потом призрачная смесь бреда и реальности завладела его сознанием.

В двадцать пять лет юность уже на отлете, многие из простых человеческих радостей уже не вернуть и не пережить, если не пришлось пережить их в прежние годы, и в этом смысле люди, пожалуй, достойны большего, чем то, что приготовила судьба Ивану Терешке. Правда, парень редко задумывался об этом, было не до погони за счастьем — дома приходилось заботиться о том, чтобы как-то прожить, встать на ноги; позже, во время войны, понятное дело, куда большие заботы волновали его. Было не до любви. Он не знал женщины и все же, как это часто случается в молодости, к известным взаимоотношениям парней и девчат относился скептически.

Года два назад на Северо-Западном фронте Иван был ранен одновременно со своим ротным — старшим лейтенантом Глебовым, у которого служил ординарцем.

Ранило их в лесу, когда ротный шел на совещание к командиру полка. Сжав свое рассеченное осколком плечо, Терешка вынес ротного из-под огня, и их подобрала обозники. Иван, легко раненный, чувствовал себя сносно, а вот с Глебовым дело обстояло хуже. Старший лейтенант потерял много крови, стал белый как полотно, почти не говорил, только попросил, чтобы его сразу отправили в госпиталь, минуя дивизионный санбат. Ординарец понимал беспокойство офицера: Глебов не хотел расстраивать Анютку — тоненькую, с большими, ясными глазами девчущку, недавнего санинструктора их роты, ставшей медсестрой санбата. Все в роте знали, что у них с Глебовым не просто игра, а самая настоящая любовь, — именно поэтому ротный накануне добился перевода ее в санбат, где было все же потише, чем на передовой. Автоматчики роты по-своему тоже любили девушку — уважая ротного, уважали и его любовь. У ординарца же было свое отношение к ней, — видимо, потому, что он ближе других был к Глебову, парень привязался к Анюте, как к младшей сестре, а может, даже и больше.

Случилось, однако, что миновать санбат было нельзя. Где уж там везти раненого в тыловой госпиталь, когда Иван испугался, успеют ли они доставить его хотя бы до санбата. Коня быстро несли по наезженной санной дороге, а Иван все крикивал на ездового — пожилого нерасторопного

бойца в двух шинелях поверх телогрейки, чтобы тот погонял быстрее. Глебов стал забываться, бредил, ругался, ординарца он уже не узнавал, как не узнал и Анютку, которая с криком упала на сани, когда они подъехали наконец к большой брезентовой палатке санбата.

Иван на всю жизнь запомнил тот вечер, звездное морозное небо, мрачные ели, привычный запах дыма, тихий гомон людей в палате и больше всего — неутешное горе Анютки. Ее не пускали в операционную, но в накинутом на плечи полушубке она рвалась туда и плакала. Иван тоже сидел у входа и, забыв о собственной боли, ловил от выходящих сестер каждую весточку о состоянии раненого. Вести были неважные — оперировали старшего лейтенанта долго и трудно, переливали кровь, бегали за физиологическим раствором. Иван ждал долго, Анютку не утешал, самому было более чем тяжело, только курил и курил, пока не опустел кисет.

Глебов умер во время операции. Ему не успели даже наложить швы.

Внезапное горе будто испепелило что-то в душе Ивана, парень и сам не думал, что так горько будет переживать эту смерть. Видимо, его переживания усиливались при виде чужого несчастья. Анютка несколько дней не являлась на дежурство, и никто ее не осуждал за это, наоборот, раненые, лежа на походных кроватях-носилках в огромной, как рига, палатке, с уважением отнеслись к ее горю. Тогда-то у Ивана, очевидно, и зародилось особое чувство к ней. Нет, это не было любовью: то, что он чувствовал к девушке, скорее напоминало при-

знательность за ее верность ротному, уважение, и только.

За долгие зимние вечера, проведенные в санбате, он, пожалуй, вовсе разучился шутить, улыбаться, только бесконечно дымил моршанской махоркой, глядя на сияющее мелькание в печи, сооруженной из железной бочки, которую докрасна накаливал санитар Ахметшин. С Анюткой после памятного вечера они почти не разговаривали, и без того хорошо понимая душевное состояние друг друга. Приступив после недолгого перерыва к дежурству, она потеряла свою всегдашнюю живость, стала не по годам задумчивой и строгой. Общее горе роднило их. Иван кое в чем помогал ей в палате, никогда ни словом не обмолвившись об их переживаниях, и она была благодарна ему.

Вскоре рана начала зарубцовываться, он подвязал на тесемку руку и стал выходить из палатки — вместе с Ахметшиным брел на опушку, к разрушенной деревне, где было огромное немецкое кладбище, оставленное фашистами во время прошлогоднего отступления. Сотни, а может, и тысячи крестов выстроились более чем на десяти гектарах, как ни взгляни — вдоль, поперек или наискось — всюду виднелись ровные, как на параде, ряды. Хлопцы рубили кресты и тащили в палатки, они были из неокоренной подсохшей березы и отлично горели. Жечь их в печи стало любимым занятием Ивана, очень уж приятно было смотреть, как пожирал огонь дощатые бирки, слизывая черные фамилии завоевателей, самые разные даты рождения и у всех одинаковый год смерти. Обычно поздно вечером, управившись с делами, Анютка

присаживалась к нему на носилки и тоже смотрела на огонь; кто-нибудь в это время рассказывал в темном углу трудный фронтальный случай или что-либо повеселее из довоенного прошлого. И так было хорошо.

Но время шло, раненые в санбате менялись, одних эвакуировали дальше в тыл, других, подлечив, выписывали на передовую. И вот однажды небольшая на первый взгляд перемена сразу нарушила мирный покой этой палаты.

Как-то после обеда, когда Иван принялся собирать грязные котелки, чтобы отнести их на кухню, у входа в палатку послышались голоса, топот ног, и двое санитаров втащили носилки с раненым. На носилках под полушубком лежал молодой командир с двумя шпалами в черных петлицах (оказалось потом, что он из танковой части, которая поддерживала их дивизию). Майора начали устраивать в углу, всем распоряжался сам комиссар санбата. Иван, унося на кухню посуду, невольно удивился такому вниманию к раненому. Когда же он вернулся, майор уже сидел на носилках, — согревшись, он сбросил с себя меховую безрукавку, и на широкой груди танкиста заблестело пять орденов. Раненые в палате притихли, с любопытством повернув головы в его сторону.

Майор оказался бойким, общительным человеком, легко раненным в обе ноги; он попусту не глядел в потолок, как другие в первые дни после ранения, а быстро перезнакомился с бойцами и санитарями, сразу стал на дружескую ногу с сестрами, обращаясь со всеми просто и весело. Через день-два к нему зачастили дружки-сослуживцы, иногда

заходило начальство. При всей своей завидной общительности, танкист, однако, потребовал устроить в углу перегородку. Ребята не удивились — он был командир, и потому понятным стало его желание как-то отделиться от бойцов, хотя это и не было принято в палате для легкораненых. Просьбу майора уважили: в углу появилась обвешанная простынями боковушка, и с тех пор самое интересное в палате происходило за этой ширмой.

Иван начал хмуриться, порой подавлял в себе, казалось бы, беспричинную злость, глядя, как повеселела, оживилась Анютка, как нет-нет да и забежит по какому-нибудь делу в эту боковушку. Майор тоже заметил шустрюю сестру и всяческими знаками внимания начал выделять ее среди остальных. Однажды вечером она дольше обычного задержалась у него, майор что-то все говорил ей о музыке, о какой-то опере, Анютка слушала, переспрашивала и вообще с чрезмерным интересом отнеслась к его рассказу. Даже опоздала с докладом дежурному, за что получила по телефону выговор.

С того вечера она стала еще веселее, с беззаботной ловкостью носилась по проходу между носилками, шутила с бойцами и даже запела как-то «Синенький, скромный платочек». Очевидно, она так бы и не догадалась о степени своего вероломства, если бы в эту минуту не взглянула на Ивана. Видно, взгляд его попал ей в самое сердце — Анютка запнулась, выпустила из рук моток бинта и, не подняв его, выбежала из палаты. Он, разумеется, ничего не сказал ей, только думал: это не так, не может она так, он ошибается, ему все кажется! Чужая любовь незаживающей раной постоянно ны-

ла в его душе, и Иван, как умел, оберегал ее, страдал из-за нее, как, может быть, не смог бы страдать из-за своей, которой у него еще не было.

Но, видно, он ошибался, успокаивая себя. Вскоре парень заметил, что Анютка избегает его, не хочет даже встретиться взглядом, что ее настойчиво тянет туда, за простыни. Иван еще больше замкнулся, похудел, начал реже ходить за крестами, и в палатке помогать Ахметшину стали другие выздоравливающие.

Так прошло еще несколько дней.

Однажды Анюта делала майору укол. Было утро, слабо брезжил рассвет, и по ту сторону мигала «катюша». Чутко прислушиваясь к каждому движению в боковушке, Иван еловым венником выметал земляной проход в палатке, как вдруг увидел на простынях две тени. Видно было, как Анюта рванулась из мужских цепких рук, но затаилась, не крикнула. Иван кое-как домел пол, потом, потеряв всякий интерес к окружающему, лег на крайний в темном углу матрац и долго лежал так, погруженный в себя. Когда же утренняя суета улеглась, он собрал свою одежду, завязал вещмешок и, ни с кем не простившись, вышел на дорогу.

К обеду он был уже в роте.

Старшина, который на завтра ездил в медсанбат за его продаттестатом, рассказал о непонятной выходке Терешки. Ребята немного позубоскалили и успокоились, а Иван долго еще молчал в темной землянке. Разве мог кто догадаться, что происходило в его душе! Рана на плече постепенно зажила, а тоска о поруганной чужой любви осталась, и Иван думал, что девчата — не для него.

Первым его ощущением реальности была теплынь.

Даже не теплынь, а жара, скорее духота. Чудилось, будто лежит он на носилках в санбате, возле их бочки-печки, которую так немилосердно накалил Ахметшин. Пекло не только ноги, больше голову и плечи, парень чувствовал на себе липкую мокроту пота. Очень хотелось пить, повернуться, чем-то заслониться от этого изнуряющего зноя, и все же сонливая усталость владела им так сильно, что он не мог открыть глаз.

Так он томился в дремоте, и сон постепенно начал отступать. Иван потянулся, откинул руку и неожиданно ощутил росистую прохладу травы. Он с усилием раскрыл глаза, и первое, что увидел, был ярко-красный цветок возле лица, доверчиво подставивший солнцу свои четыре широких глянце-витых лепестка, на кончике одного из которых рдела-искрилась готовая вот-вот сорваться прозрачная, как слеза, капля. Легкий утренний ветерок тихо раскачивал его длинную тонкую ножку: где-то поодаль, в пестрой густой траве, сонно гудела оса. Вскоре, однако, басовитое жужжание оборвалось, и тогда Иван понял, что вокруг стояла полная, всеобъемлющая тишина. От тишины он давно отвык, она пугала; не понимая, где он, Иван рванулся с земли, широко раскрывая покрасневшие после сна глаза, и радостно удивился невиданной, почти сказочной красоте вокруг.

Огромный луговой склон в каком-то непостижимом солнечном блеске безмятежно сиял широким разливом альпийских маков.

Крупные, пышные, не мятые ногой человека маки, возвращенные великой щедростью матери-природы, миллионами красных бутонов переливались на слабом ветру, раздольно устремляясь далеко вниз, на самый край этого горного луга. Иван бросил взгляд дальше, вперед, куда предстояло идти, и невольная радость его исчезла. Далеко за долиной снежными разводами синел все тот же массивный Медвежий хребет. Он был куда выше пройденного, который двумя близнецами-вершинами высился сзади; огромная тень от него прозрачной сиреневой дымкой накрывала половину широкой долины. Не заслоненный теперь ничем, этот великан оставался таким же далеким, сияющим и недоступным, как и вчера.

И тут Иван встрепенулся: только теперь до его сознания дошел тревожный смысл тишины — где же Джулия? Он снова огляделся — вокруг никого не было, рядом на примятых маках одиноко лежала тужурка. Но первая тревога его тут же исчезла — пистолет и обломанная треть буханки, очевидно прикрытые от солнца рукавом тужурки, лежали в траве. Тогда он вскочил на ноги, его лихорадочный взгляд заметался по склону. Где она? Неужели?.. В душе возникла недобрая догадка, но он не мог поверить в нее. Почему не мог — и сам не знал, только не хотел того — он жаждал видеть, слышать, чувствовать ее рядом. Одиночество внезапно поразило его хуже всякой неудачи.

Он схватил пистолет, хлеб, сунул под руку тужурку и бросился по траве вниз. Влажные бутоны били по его распухшим и сбитым ногам, он

оглянулся, вспомнив про колодки, но их тут не было. Тогда он опять быстро зашагал по лугу, шаркая ногами в сплошных зарослях маков, отошел довольно далеко и остановился — сзади по росистым цветам пролег его след. Вокруг лежало никем не тронутое красное море.

Это навело его на догадку, Иван поправил под рукой тужурку и быстрым шагом вернулся назад.

Действительно, в росистой траве заметны были другие следы, они вели в сторону, где начинался распадок, и Иван торопливо кинулся по нему. Ступни и штаны его быстро намокли от росы, сильный аромат цветов пьянил голову; как всегда, очень хотелось есть, от истомы и слабости темнело в глазах. Это были старые привычные ощущения, крепкое от природы закаленное тело Ивана противостояло им, он чувствовал, что силы у него еще не иссякли.

Сдерживая душевную тревогу, Иван обежал колючие рододендроновые заросли, усыпанные большими, с кулак, красными цветами, и тут со стороны небольшого распадка услышал шум водопада. Вскоре шум этот усилился, стало видно, как из черного, блестящего от сырости каменного желоба, разбиваясь о скалу, ниспадала блестящая струя воды. Вокруг в туманном мареве рассыпались мелкие брызги, а в стороне от них на мрачном каменном фоне висело в воздухе разноцветное радужное пятно. Равнодушный к этой неожиданной красоте гор, Иван взбежал выше и вдруг остановился и тихонько опустил на землю. В полусотне шагов под струистой россыпью водо-

пада, спиной к нему, стояла на камне и мылась Джулия.

Он сразу узнал ее, хотя без одежды, обнаженная, она разом утратила проклятые признаки гефтингга и наедине с природой казалась совсем другой в своем стыдливом девичьем совершенстве, полном тайны и целомудрия. Девушка не видела его и, настороженно сжавшись, терпеливо подставляла свое худенькое, легкое тело под густую сеть струи, готовая при первом же шорохе встрепенуться и исчезнуть. На ее блестящих от брызг остреньких плечах переливались разноцветные радужные блики.

Не в состоянии преодолеть в себе чего-то застенчиво-радостного, Иван медленно опустился в траву, лег, перевернулся на спину,— над ним засияло чистейшее, без единого облачка, небо, влажные запахи земли хмельной брагой закружили голову. Иван распластался на прохладной траве и от избытка счастья тихо про себя засмеялся.

В тайниках его души неугасимо тлела тревога: впереди был груднодоступный хребет, сзади... Ясно, чего можно было ждать сзади. Но теперь, в этом заповеднике красоты, возле утерянного и найденного, ставшего уже дорогим ему, человека, Ивану сделалось по-детски хорошо и светло на сердце, как не было, пожалуй, ни разу за все годы плена. И он лежал в траве, жадно впитывая эту неожиданную, непостижимую радость и не стараясь даже осознать, откуда она и что с ним случилось,— просто был по-человечески счастлив. Правда, вскоре он почувствовал, что все это ненадолго,— беспокойное и трудное упрямо не оставляло его в этом

мире, и если забылось, то лишь на время уступив место вдруг охватившей его счастливости.

Он не поднимался из маков и ни разу не взглянул на нее, стыдливая деликатность мешала ему сделать это; лежа на животе, не зная зачем, он рвал возле себя маки и машинально складывал их в букет. Полный тихой, сдержанной нежности, он продолжал это занятие, пока не услышал торопливые шаги. Он поднял голову: под водопадом никого уже не было,— на ходу надевая полосатую куртку, Джулия пробежала недалеко, направляясь туда, где оставила его. Он опять тихо засмеялся, увидев ее нетерпеливый, озабоченный, устремленный вдаль взгляд, но не окликнул, а, схватив тужурку, не спеша пошел следом.

Поблескивая на солнце мокрыми и черными как смоль волосами, она быстро обежала рододендрон и, будто споткнувшись, остановилась возле измятых маков. Даже издали нетрудно было заметить ее испуг и растерянность, с какими она взглянула в одну сторону, затем в другую и направилась по склону вниз. Однако в следующее мгновение что-то заставило ее оглянуться.

— Иван!!!

В этом восклицании прозвучали одновременно испуг, облегчение и радость, она всплеснула руками и птицей бросилась ему навстречу. Иван остановился. Казалось, целую вечность не видел он этих сияющих радостных глаз, нежной смуглости щек, беспорядочной россыпи ее коротко подстриженных волос. Все в нем рванулось к ней, но он сдержал себя, смолчал. Она же, подминая колодами маки, подскочила к Ивану, обеими руками

обхватила его за шею и, повиснув на ней, обожгла его неожиданным озорным поцелуем.

Он затаил дыхание, а она, все еще обнимая его, порывисто откинула голову и захохотала — влюбленно вглядываясь в его лицо; горевшее от прикосновения ее холодных, упругих губ. Затем, не переставая смеяться, разжала пальцы, легко оттолкнула его и опустилась в траву.

Глаза ее искрились ребячьим смехом, куртка, застегнутая на одну палочку-пуговицу, распахнулась, и в треугольнике-ямке меж грудей блеснул маленький синий эмалевый крестик. Этот крестик на миг остановил на себе его взгляд, она сразу же спохватилась и запахнула курточку, по-прежнему смеясь глазами, лицом, широким белозубым ртом, каждой частицей молодого, холодного после купания тела.

Он, однако, внезапно насупился, смутился, за какие-нибудь полминуты, стоя так, почувствовал, как что-то в нем рушится, какая-то неведомая сила подчиняет себе его волю. Только теперь он уже не стал с ней бороться — подчинился, потому что в этом подчинении была радость, и он сделал шаг к девушке. Джулия вдруг оборвала смех и вскочила навстречу.

— Иван! — воскликнула она, увидев цветы в его руках. — Это ест сюрприз синьорина? Да?

Он только теперь обратил внимание на смятый букет маков в руке и засмеялся. Она также засмеялась, понюхала цветы, утопив в букете свое маленькое личико. Затем положила букет на траву и быстро-быстро начала рвать вокруг себя маки.

— Джулия благодарит Иван. Благодарит — очень, очень...

— Не надо, что ты! — пытался остановить ее Иван.

— Очен, очен благодарит надо! Иван спасат синьорину! Руссо спасат итальяно! Это есть интернационале! Братство! — восторженно говорила она, продолжая рвать маки. Потом с целой охапкой их подбежала к Ивану и вывалила все цветы на его грудь.

— Ну что ты! — удивился он. — Зачем?!

— Надó! Надó! — забавно коверкая русские слова, настаивала она, и он вынужден был обхватить вместе с охапкой маков и тужурку с завернутым в нее хлебом. Джулия, видно, на ощупь почувствовала там хлеб и, вдруг посерьезнев, вскрикнула: — Хляб?!

— Ага, давай поедим, — оживился Иван, положил все на землю и сел сам. Джулия с готовностью присела рядом.

16

— Съесть бы все сразу, — сказал Иван, держа в руке черствый, с килограмм весом, кусок хлеба — измятый, обломанный по краям и все же такой аппетитный и желанный, что оба, глядя на него, опять проглотили слюну.

— Асё, асё, — как эхо, согласно отозвалась Джулия, тоже не сводя глаз с хлеба.

Иван поверх ее головы оглядел далекий заснеженный хребет и вздохнул:

— Нет, все нельзя.

217

— Нелзя? Нон?

— Нон.

Она поняла и тоже вздохнула, а Иван разостлал на земле тужурку и положил на нее этот их более чем скромный остаток припаса. Предстояло отмерить две равные пайки.

Он старательно разламывал хлеб, раскладывая кусочки на две части и чувствуя голодную несдержанность Джулии. В его душе росло новое чувство к ней — то ли братское, то ли даже отцовское, доброе и большое. Оно переполняло его уважением к ней, такой по-девичьи не приспособленной к великим невзгодам войны и такой бездумно решительной в своем почти подсознательном, словно у птицы, стремлении к свободе.

Иван сосредоточенно делил хлеб. Каждый ломтик, каждая крошка взвешивались их зоркими взглядами. Он сознательно сделал одну пайку побольше, потому что в другой была горбушка, что, согласно лагерной логике, считалось более ценным, нежели такой же по весу кусок мякиша. Когда все было разделено, остаток буханки Иван за сунул в карман тужурки.

— Это тебе, это мне,— сказал он просто, без традиционного ритуала дележки и подвинул ей кусок с горбушкой.

Она решительно вскинула смоляные брови.

— Нон. Это Иван, это Джулия,— и поменяла куски местами.

Он глянул ей в лицо и улыбнулся:

— Нет, Джулия, не так. Это тебе.

Потом быстро взял с тужурки свою порцию. Джулия с шутливым недовольством поморщилась

и вдруг неожиданно сунула одну свою корку в его руки. Он с коркой тотчас подался к девушке, но та, смеясь, увернулась, вскинула руки с пайкой, чтобы он не достал их. Иван с шутливым упрямством склонился к ней, она изогнулась, невольно коснувшись его грудью, и, чтобы удержаться, ухватила за его плечо. Смех ее вдруг оборвался. Неожиданная близость заставила его отпрянуть,— пересилив в себе радостный порыв, он отодвинулся в сторону и сел на полу тужурки. Она же по-девичьи лукаво улыбнулась, взмахнула ресницами, прикусила губу и стала поправлять на груди куртку.

— Бери, ешь. Это же твоя,— сказал он, пододвигая ей корку.

— Нон.

С озорным упрямством в глазах, поблескивая зубами, она принялась грызть свою горбушку.

— Бери, говорю.

— Нон.

— Бери.

— Нон,— не сдавалась она, смеясь глазами.

— Упрямая. Ну как хочешь,— сказал Иван и откусил от своего куска.

Она быстро проглотила все, разумеется не наелась, и тайком стала поглядывать на оттопыренный карман тужурки. Иван, неторопливо жуя, замечал ее взгляды и невольно сам начал думать: а не съесть ли все, без остатка, чтоб хоть один раз утолить голод? Но все же усилием воли Иван отогнал эти мысли, потому что слишком хорошо знал цену даже и такому небольшому кусочку, как этот.

— Еще хочешь? — спросил он наконец, доев сам.

Она с подчеркнутой решимостью, словно боясь передумать, покрутила головой.

— Нон! Нон!

— А это? — кивнул он на корку, все еще лежавшую на середине тужурки.

— Джулия нон.

— Тогда давай так: пополам.

— Вас ист дас — пополам?

Девушка вопросительно сморщила носик. Солнце светило ей в лицо, и она невольно гримасничала, словно шутя дразнила Ивана.

— Немножко Ивану, немножко Джулии.

Он разломил корку и одну часть дал ей — она нерешительно взяла и, откусив маленький кусочек, посасывала его.

— Карашо. Гефтлинген чокколятка.

— Да уж при такой жизни и хлеб — шоколад.

— Джулия бежаль Наполи — кушаль чокколятка. Хляб биль малё — чокколятка много, — сказала она, щуря темные как ночь глаза.

Иван не понял.

— Бежала в Неаполь?

— Си. Рома бежаль. От отэц бежаль.

— От отца? Почему?

— А, уна... Една историй, — неохотно отозвалась она, еще откусила кусочек и пососала его. Потом с чрезмерным вниманием осмотрела корку. — Отэц хотель плёхой марито. Русски — это муж.

Муж! Эта весть неожиданной болью обожгла его сознание, он сжал челюсти и нахмурился. Она,

видимо, почувствовала это, с лукавинкой в глазах искоса взглянула на его омрачившееся лицо и усмехнулась:

— Нон марито. Синьор Дзангарини не биль муж. Джулия не хотель синьор Дзангарини.

Иван, все еще хмурясь, спросил:

— А почему ты не хотела?

— О, то биль уно сегрето.

— Какой секрет?

Она, бросая смешливые взгляды то по сторонам, то исподлобья — на него, сосала корку, а он сидел, уставившись в землю, и дергал с корнями пучки травы.

— О, сегрето! Маленько сегрето. Джулия любиль, любиль... как ето русско?.. Уно джэвинотто — парень Марио.

— Вот как? — сказал он и отбросил вырванный пучок травы, ветер сразу рассеял в воздухе травинки. Иван повернулся боком, теперь он почему-то не хотел смотреть на нее и лишь мрачно слушал. А она, будто не чувствуя этой перемены в нем, говорила:

— Карашо биль парень. Джулия браль пистоля, бежалъ Марию Наполи. Наполи гуэрро, война. Итальяно шиссен дойч. Джулия шиссен, — она вздохнула. — Партиджяно итальяно биль мало, тэ-дэски мнёго итальяно убиваль. Мнёго концлягер. Джулия концлягер.

→ Что, против немцев воевали? — догадался Иван.

— Си. Да.

— Ого! — сдержанно удивился он и спросил: — А где же теперь твой Марио?

Она ответила не сразу, поджав колени к груди, гибкими руками обхватила длинные ноги и, положив на них подбородок, посмотрела вдаль.

— Марио фу уччизо.

— Убили?

— Си.

Они помолчали. Иван, однако, уже превозмог свою скованность, взглянул на нее, она, став серьезной, выдержала этот взгляд. Потом глаза ее начали заметно теплеть под его взглядом, недолгая печаль в них растаяла, и она рассмеялась.

— Почему Иван смотри, смотри?

— Так.

— Что ест так?

— Так есть так. Пошли в Триест.

— О, Триесте! — Она легко вскочила с травы, он также встал, с неожиданной бодростью размашисто перекинул через плечо тужурку. По огромному полю маков они пошли вниз.

Солнце припекало все больше. Тень от Медвежьего хребта постепенно укорачивалась в долине, знойное пепельное марево дрожало на дальнем подножии горы, окутывало лесные склоны, только снежные хребты вверху ярко сияли, выставив как напоказ каждое блеклое пятно на своих пестрых боках.

— Триесте карашо. Триесте партиджяно! Триесте море! — оживленно лепетала Джулия и, очевидно от избытка переполнявших ее радостных чувств, запела:

Ми пар ди удире анкора,
Ля, воче туа, им медзэ ай фьори¹.

¹ Мне до сих пор слышится твой голос среди цветов.

Она негромко, но очень приятно выводила напевные слова. Он не знал, что это была за песня, мелодичные ее переливы напоминали мерное волнение моря, что-то безмятежное и доброе, очаровывая, влекло за собой.

Пэр нон софрире,
Пэр нон морире
Ио ти пенсо, э ти амо...¹

Иван, затаив дыхание, слушал этот мелодичный отголосок другого, неведомого мира, как вдруг девушка оборвала песню и повернулась к нему:

- Иван! Учит Джулия «Катуша»!
- «Катюшу»?
- Си. «Катушу».

Ра-а-сцетали явини и гуши,
По-о-пили туани надэкой... —

пропела она, откинув голову, и он засмеялся; так это было неправильно и по-детски неумело, хотя мелодия у нее получалась неплохо.

— Почему Иван смехио? Почему смехио?

— Расцветали яблони и груши,— четко выговорил он.— Поплыли туманы над рекой.

Она со смешинкой в глазах выслушала и закивала головой:

— Карашо. Понималь.

Ра-асцветали явини и груши...

¹ Чтобы не страдать,
Чтобы не умереть,
Я думаю о тебе и тебя люблю.

— Вот теперь лучше,— сказал он.— Только не явини, а яблони, понимаешь? Сад, где яблоки.

— Да, понималь.

С усердием школьницы начала она петь «Катюшу», отчаянно перевирая слова, и оттого ему было смешно и хорошо с ней, будто с веселым, ласковым, послушным ребенком. Он шел рядом и все время улыбался в душе от тихой и светлой человеческой радости, какой не испытывал уже давно. Неизвестно, откуда и почему родилась эта его радость,— то ли от высокого ясного неба, щедрого солнца, то ли от картинного очарования гор или необъятности простора, раскинувшегося вокруг, а может, от невиданного торжества маков, удивительно крепкий аромат которых, казалось, наполнил всю долину. Казалось, чем-то праздничным, сердечным дышало все среди этих гор и лугов, не верилось в опасность, в плен и возможную погоню, и почему-то подумалось: не приснился ли ему весь минувший кошмар лагерей с эсэсманами, со смертью, смрадом крематориев, ненавистным лаем овчарок? А если все это было на самом деле, то как рядом с ним могла существовать на земле эта первозданная благодать,— какая сила жизни отделила ее чистоту от преступного безумия людей? Но то отвратительное, к сожалению, не приснилось, оно не было призраком — их полосатая одежда свидетельствовала о том, что было, и от чего они окончательно еще не избавились. И тут, среди благоухающей чистоты земли, эта их одежда показала Ивану такой ненавистной, что он сорвал с себя куртку и прикрыл ее тужуркой. Джулия перестала петь и, улыбнувшись, осмот-

рела его слегка загоревшие, широкие и сильные плечи.

— О, Эрколе! Геркулес! Руссо Геркулес!

— Какой Геркулес! Доходяга! — скромно возразил Иван.

— Нон, нон! Геркулес!

Она шутливо хлопнула его по голой спине и обеими руками сжала опущенную вниз руку.

— Сильно, карашо руссо. Почему плен шель?

— Шел! Вели, вот и шел.

— Надо биль фашисто! — Она решительно взмахнула в воздухе маленьким кулачком.

— Бил, чока мог. Да вот...

Подняв локоть, он повернулся к ней другим боком, и на ее подвижном личике сразу отразилась жалость, почти испуг.

— Ой, ой! Санта Мария!

— Вот тебе и Геркулес, — вздохнул он.

— Болно? — Бережным прикосновением она осторожно пощупала огромный широкий рубец — след ножевого штыка. Он решительно потер бок.

— Уже нет. Отболело.

— Ой, ой!

— Да ты не бойся, чудачка, — ласково сказал он. — А ну, сильней.

Она никак не осмеливалась, и он, взяв в ладонь ее тонкие пальцы, надавил ими на шрам. Джулия испуганно вскрикнула и прижалась к нему. Иван невольно дрогнул, — это ее короткое прикосновение отозвалось в нем испугом, заставило парня отшатнуться. Нет, так нельзя! Нельзя себя распускать! Надо скорее уходить.

— Вот что,— нахмурившись, сказал он, коротко взглянув на нее.— Надо быстрее идти, понимаешь?

— Я,— согласилась она, усмехнувшись и с какой-то затаенной мыслью глядя ему в глаза.

17

Они спустились по склону от верхней границы луга к его середине. Тут маки начали постепенно редеть, уступая место другим цветам. Кое-где синели скопления душистых незабудок, качались на ветру колокольчики, от густого аромата желтой азалии кружилась голова. Местами в цветочных зарослях попадались каменистые плечи, возле них всегда было много колючей щепенки, особенно докучавшей его босым ногам. Иван начал осторожнее выбирать путь, смотреть под ноги. Один раз перед его глазами в траве сверкнула красная капля, он нагнулся — между зубчатыми листочками рдело несколько крупных ягод земляники. Только он сорвал их, как рядом увидел и еще такие же красные ягоды. Тогда Иван положил тужурку, присел; Джулия тоже со счастливым криком бросилась наземь.

Ягод было много — крупных, сочных, почти всюду спелых, Иван и Джулия собирали и ели их — жадно, пригоршнями, забыв о времени и об опасности. Правда, утолить ими голод было невозможно, но, разойдясь на лугу, они съели помногу. Прошло немало времени, солнце передвинулось на другую сторону неба и в упор освещало долину с перелесками и изрезанный извилинами расселин Медвежий хребет.

Обливаясь потом, Иван ползал по траве на коленях в поисках ягод, когда услышал позади шаги Джулии. Парень оглянулся и, вытирая лоб, сел на землю.

Пряча в живых глазах лукавую усмешку, девушка быстро подошла к нему, опустилась на колени и развернула уголок своей куртки. На измазанной земляничным соком поле краснела рассыпчатая кучка ягод.

— Битте, руссо Иван,— нарочито жеманно предложила она.

— Ну зачем? Я уже наелся!

— Нон, нон. Эссен! Эссен!

Захватив в горсть ягод, она почти силой заставила его съесть их. Потом съела немного сама и снова поднесла горсть к его рту. Ягоды из ее рук имели почему-то совсем другой вкус, чем съеденные по одной, он выбрал их губами с ладони и шутливо прихватил зубами теплую душистую кожицу ее ладони.

Джулия озорно пригрозила:

— Нон, нон!

Они доели все собранные ею ягоды, а потом Иван поднял брошенную в маках тужурку.

— Айда?

— Айда,— согласно подхватила она.

Довольные друг другом и как-то сблизившиеся, они пошли дальше. Джулия доверчиво положила руку на его плечо.

— Земляника — это хорошо,— сказал он, нарушая тихое, доброе, но почему-то неловкое молчание.— Я до войны не одно лето ею кормился. Земляника да молоко.

— О, руссо—веджитариани!—удивилась она.— Джулия нон веджитариани. Джулия любилъ бифштекс, спагетти, омлет.

— Макароны еще,—добавил он, и оба засмеялись.

— Я, я, макарони,—подтвердила она и задорно поддразнила:—А руссо земляньико?

— Бывает. Что ж поделаешь. Когда голод прижмет,—невесело согласился Иван. Джулия удивленно взглянула на него:

— Почему голяд? Почему голяд? Русланд как голяд? Русланд само богато? Правда?

— Правда. Все правда.

— Почему голяд? Говори!—настанвала она, заметно встревоженная его словами.

Он помолчал, ступая по траве и нерешительно соображая, стоит ли говорить ей о том, что было. Но он уверовал уже в ее ласковое расположение к нему, потянулся к ней сам, и потому в нем начала пробуждаться давно уже не испытываемая потребность в откровенности.

— Случается, когда неурожай. В тридцать третьем, например. Траву ели...

— Вас траву?

— Какую траву?—Он нагнулся и сорвал горсть травы.—Вот эту самую. Без цветов, конечно. С голоду и отец умер.

Джулия удивленно остановилась, строгое лицо ее помрачнело. Испытующе-подозрительным взглядом она смотрела на Ивана, но ничего не сказала, только выпустила его руку и почему-то сразу замкнулась. Он, опечаленный невеселым воспоминанием, тихонько зашагал дальше.

Да, голодали, и не только тогда... Спасала их обычно картошка, но и ее не всегда хватало до новой, и тогда появлялась трава. Из щавеля и крапивы варили похлебку; подбавив горсть муки в травяное крошево, пекли травяники — горький вкус их на всю жизнь запомнился Ивану. В тридцать третьем отец Ивана бросил все и подался на Украину в поисках заработка и какого ни есть хлеба. Мать вся опухла, малыши еле двигались — хорошо еще, что вырочала корова. Тем летом они с трудом дотянули до новой картошки. Под осень возвратился отец. И до этого не отличавшийся здоровьем, он окончательно занемог, как слег, так и не встал. На рождество умер. Осталось четверо детей. Иван старший, он вынужден был растить с матерью ребят, кормить семью. Ой, как нелегко это досталось ему!

Он задумчиво шел, поглядывая вниз, где мелькали в траве сизые колодки на ее ногах и тихо шевелились, плыли на ходу две короткие тени. Джулия, однако, начала отставать, он почувствовал какую-то перемену в ее настроении, но не оглядывался.

— И Сибирь биль? Плёхо кольхоз биль? — с каким-то вызовом в неожиданно похолодевших глазах заговорила девушка.

Почти в испуге он остановился и внимательно посмотрел на нее.

— Ты что? Кто тебе сказал?

— Один пляхой руссо сказаль. Ти хочешь сказаль. Я зналь!..

— Я?

— Ти! Говори!

— Ничего я не хочу. Что я тебе скажу?

— Говори: Джулия нон правда. Джулия ошибка!

Он смотрел на девушку — лицо ее стало злым, глаза остро блеснули, все ее недавнее расположение к нему исчезло, и он напряженно старался понять причину этой ее перемены, так же как и смысл ее неприятных вопросов.

— Ну говори! Говори!

Видно, действительно она что-то уже слышала, возможно, в лагере, а может еще в Риме. Но он теперь не мог ничего объяснить ей, он уже жалел, что упомянул про голод.

— Биль несправьядливость? — настойчиво спрашивала Джулия.

— Какая несправедливость? О чем ты говоришь?

— Люди Сибирь гналь?

— В Сибирь?

Он испытующе взгляделся в ее колючие глаза и понял, что надо или сказать правду, или что-то придумать. Чтобы разом прекратить этот разговор, неласково буркнул:

— Бывало, раскулачивали некоторых...

Джулия с горечью закусил губы.

— Нон правда! — вдруг крикнула она и будто ударила его взглядом — столько в ее глазах было горечи, обиды и самой неприкрытой враждебности. — Нон правда! Нон! Иван — Влясов!

Она вдруг громко всхлипнула, прикрыла руками лицо. Иван испуганно подался к девушке, но она остановила его категорическим гневным «нон!» и побежала по склону в сторону. Он стоял, не

зная, что делать, и лишь растерянно смотрел ей вслед. Мысли его вдруг спутались, парень почувствовал, что произошло что-то нелепое, недоговоренное и дурное, но как исправить это — не знал.

Джулия добежала до голого взлобка, взобра-лась на него и, скорчившись, подогнула колени. На него она даже и не взглянула ни разу.

— Ну и ну! Власов! — ошеломленный, сказал себе Иван и, вздохнув, затоптался в траве. Кажется, он действительно совершил что-то плохое, опрометчиво разрушил с таким трудом налаженное и нужное ему согласие с ней — от сознания этого все в нем мучительно заныло, увяла недавняя тихая радость, на душе стало одиноко и горько.

Ну конечно, она уже что-то слышала о том, что происходило в его стране в те годы; возможно, ей представляли это совсем в ином свете, нежели было на самом деле, только как теперь объяснить Джулии все, чтобы она поняла и не злилась?

Перекидывая с плеча на плечо тужурку, Иван топтался на месте; затылок и плечи его сильно обжигало солнце, а он сколько ни думал, все не мог понять, что же между ними произошло и в чем тут его вина. Наверно, о голоде лучше бы промолчать, хоть и неприятно это — скрывать правду, но теперь, по-видимому, надо было это сделать. Очень уж обидно было лишиться ее доверия; именно сейчас, после всего совместно пережитого. В то же время Иван подсознательно чувствовал, что дело тут было не в нем — в душе обоих рождалось нечто великое и важное, перед которым всякая расчетливость казалась унижительной.

Но ведь вот жди теперь неизвестно чего! Можно было представить себе, как восприняла бы Джулия и его правду, высказанную без обиняков,— могла ли она понять всю сложность того, что когда-то тяжело пережил он сам?

Что и говорить — действительно, положение его было более чем затруднительным.

Но пусть! Он не станет ей врать, он скажет все, как было, и если у этой девушки чуткое сердце в груди, она поймет, что никакой он не власовец, и как должно отнесется к нему и к его достойному уважению народу. Это Иван вдруг понял с отчетливой ясностью, и ему стало легче и спокойнее — будто решилось что-то и осталось только дождаться результата.

18

Но дождаться его у Ивана не хватило терпения.

Джулия, отвернувшись, сидела поодаль, задумчиво ковыряя землю, и он, помедлив, взял тужурку и тихонько побрел к ней. Она, однако, услышала его шаги, вздрогнула, бросила на него протестующий взгляд, быстро вскочила и побежала по склону дальше. Он неторопливо взобрался на голый пригорок и остановился. Надо было ждать, а может, и идти — он просто не знал, что делать. Девушка же отбежала немного и, не оглядываясь, укрылась за острым камнем, который, словно огромный причудливый клык, торчал из травы.

Тогда он бросил к ногам тужурку и лег на нее, решив терпеливо ждать, что последует дальше.

Стало жарко. От нагретой солнцем известковой земли, поросшей жесткой, как сивец, травой, несло сухим пыльным зноем — совсем как от натопленной русской печи. Голые Ивановы плечи, спина изнывали от жары и пота, вокруг в луговой траве мелькала и порхала разноцветная летучая мошкара. Изредка он поглядывал на камень, за которым спряталась Джулия, но та все не показывалась, и от истомы и духоты, от неопределенности ожидания его начала одолевать дремота. Видно, ягоды или зной притупили чувство голода, зато захотелось пить. «Вот еще не было заботы!» — подумал Иван. Надо бы идти, как можно ближе подобраться к снежному хребту, отыскать там какой-нибудь переход, добыть провианту. В самом деле, более чем нелепо обернулось все в этом его довольно удачном сначала побеге. Чтобы не дать дремоте одолеть себя, он начал долбить каменным осколком землю, откуда-то из травы перед ним появился большой черный с огромными клешнями жук; очевидно удивленный неожиданной встречей, жук остановился, вытаращил рачьи глаза и ждал, грозно шевеля длинными подвижными усами. От легкого прикосновения камешком жук, растопырив все свои шесть пар ног, повалился набок. Иван занес было руку, чтобы щелчком отбросить прочь эту не очень приятную тварь, как вдруг услышал сзади шаги.

Он повернулся так резко, что человек, видно от неожиданности, громко икнул и с необыкновенной ловкостью отскочил в сторону. Подкрался он совсем близко и теперь настороженно стоял в траве, умоляюще глядя на Ивана безумными глазами.

Перед ним был все тот же сумасшедший геф-линг.

— Привет! — иронически улыбнувшись, сказал Иван. — Живем, значит?

Иван удивился, он никак не ожидал увидеть его тут, такого же дикого, загнанного, почерневшего от пота и грязи, с почти нечеловеческим выражением на высохшем лице, в расстегнутой куртке и изодранных в клочья штанах. К тому же немец хромал, еле ступая на одну ногу. Но гляди ты — притащился, при таком состоянии просто завидным было его упрямство, — как привидение, он неотступно следовал за ними, неизвестно на что рассчитывая.

— Брот! — тихо, но с отчаянием в голосе произнес немец.

— Опять брот!? — зло удивился Иван. — Ты что — на довольствии у нас?

Сумасшедший сделал несколько нерешительных шагов к Ивану.

— Брот!

— Ты же собираешься в гестапо. К своему Гитлеру.

— Никс Гитлер! Гитлер капут.

— Капут? Давно бы так.

Вряд ли понимая его, сумасшедший, растопырив костлявые руки, терпеливо и настороженно ждал.

— Ладно, несчастный Фриц!

Иван запустил руку в тужурку и, не вынимая оттуда буханки, отломил маленькую корку хлеба. Увидев ее в руках у Ивана, немец оживился, глаза его заблестели, дрожащие кисти рук в коротких оборванных рукавах потянулись вперед.

— Брот, брат!

— Держи! И проваливай отсюда.

Иван бросил хлеб немцу, но тот не поймал его, опрометью бросился на землю, обеими руками схватил корку вместе с травой и песком и вскочил. Затем, трусливо оглядываясь, боком подался вниз по склону, все быстрее и быстрее семеня ногами, видно ожидая и боясь погони.

«Может, отвяжется теперь»,— подумал Иван. То, что этот гефтлинг опередил их, было безопаснее, чем если бы он все время шел позади. Иван задумчивым взглядом проводил сумасшедшего, пока тот не скрылся во впадине, и снова лег на тужурку.

Вчерашний его гнев к этому человеку угас, хотя он не чувствовал к нему и жалости — слишком живы были в его памяти многочисленные образы людей, которых загубили немцы. Правда, он мог быть и антифашистом по убеждениям, доведенным до животного состояния жестокостью своих соотечественников, но мог оказаться и штрафником из нацистской шайки, которому не повезло где-то в его разбойничьей службе. В концлагере были и такие. За последний побег пленных и взрыв бомбы, например, их командофюрера Зандлера (если только он останется жив) тоже по голове не поглядят, могут бросить за проволоку вместо тех, кого он не смог укараулить. Впрочем, его поставят командовать и еще облекут властью (вот тебе и гефтлинг!). И как был он собакой по отношению к людям, так ею и останется, разве что ненависть его к гефтлингам в силу личной неудачи еще усилится.

Фашисты многого достигли в своем энтмэншунге¹ — самом подлом изо всех черных дел на земле. И если их звериную жестокость к инакомыслящим еще можно было понять, то их беспощадность к своим, тем, которые не угодили в чем-либо начальству, была просто необъяснимой. Боязнь наказания свыше стала основным побудителем их деяний: все жили под угрозой расправы, разжалования, отправки на фронт, репрессий к родственникам. И потому, должно быть, так безжалостно мстили за этот свой страх, кому это было дозволено, — пленным, гефтлингам в концлагерях, оккупированным народам. И кажется странным при этом, что на фронте немцы дрались неплохо. Может, потому, что страх наказания там приобретал двойной смысл, а выбор был небольшой: военно-полевой суд или советская пуля. Но разве в этом было что-нибудь героическое, которым они бравовали?

Солдатский героизм Иван мерил своею строгой меркой, под которую подходили немногие, и уж конечно не он сам. Действительно, будь он решительнее, он не дал бы себя взять в плен, что-то предпринял бы в самый последний момент, который определил навсегда его прошлое и будущее. Наверное, надо было прикончить себя... На миг в его памяти возник тот день и тот ножевой, закоптившийся от выстрелов штык, на который Иван наткнулся, рванувшись от танка. Помнятся штык и сапог с брезентовым ушком над голенищем да

¹ Буквально — расчеловечение, растление. Одна из составных целей политики Гитлера.

еще длинная рукоять гранаты. Затем все заглушила пронзившая его боль в боку. Что-то кричал небритый, страшный от пыли немец, у ног лежало окровавленное тело Абдурахманова, рядом громыхал танк, и на секунду он потерял самообладание. Эта секунда дорого обошлась ему, следы от нее в душе и на теле останутся уже навсегда.

В полку он ничем не выделялся среди других пехотинцев, за прежние бои получил три бумажки с благодарностью от командования да две медали «За отвагу» и думал, что на большее не способен. И только тут, в плену, где некому было ни вдохновлять на героические подвиги, ни награждать, где за малейшее неповиновение платили жизнью,— только тут в нем проявился дух непокорства, дерзость и упрямство. Тут он увидел подноготную фашизма и, видно, впервые понял, что смерть не самое худшее из всех бед на войне.

— Отдаль хляб? — вдруг раздался над ним голос Джулии.

От неожиданности Иван вздрогнул и, обрадовавшись, порывисто обернулся.

— Отдаль хляб? — с прежней напряженностью на лице спрашивала Джулия.— Ми нон идет Триесте? Аллес финита? Да?

— Ну что ты! — сказал он, улыбнувшись.— Только корку отдал.

Она нахмурила лоб и сосредоточенно уставилась на него. Тогда он показал остаток буханки.

— Вот, только корку, понимаешь?

Преодолевая в себе что-то трудное, Джулия промолчала. Лоб ее, однако, постепенно разгладился.

— Ми идет Триесте? Правда? Нон?

— Пойдем, конечно. Откуда ты взяла, что не пойдем?

На ее лице все еще отражалась внутренняя борьба, девушка теребила на груди куртку, что-то решала про себя и вдруг опустилась рядом с ним на землю. Подняв колени, она облокотилась на них и спрятала лицо в рукавах. Он сидел рядом, готовый помочь ей, но она, по-видимому, пересилила себя и вскоре, встряхнув волосами, вскинула голову.

— Руссо! Ти кароши, кароши, руссо,— заговорила она и пожала его руку.— Нон Влясов. Буно руссо. Джулия плёхо.

— Ну зачем так? — мягко возразил Иван.— Зачем? Не надо...

— Очен, очен,— не слушая его, говорила она. Видно, что-то она поняла и теперь извиняющимся тоном спросила: — Иван нон бёзе Джулия...

— Ничего, все хорошо.

Сидя на земле, он осторожно взял в руки ее маленькую мягкую ладонь. Девушка не отняла ее.

— Нон бёзе Иван,— сказала она и впервые взглянула ему в глаза.— Нон бёзе Джулия. Иван знай правда. Джулия нон знат правда.

— Ладно, ладно... Ты это вот что...

— Джулия очен, очен уважат Иван, любит Иван,— сказала она. Его рука, державшая ладонь девушки, еле заметно дрогнула. Чтобы перевести разговор на другое, он сказал:

— Ты это... Пить не хочешь? Воды, а?

Она вздохнула и умолкла, глядя на него, затаив

в глубине широко раскрытых глаз раскаяние и нежность к нему.

— Вода? Аква?

— Да, воды,— отозвался он.— Вон там, кажется, ручей. Айда?!

Он быстро вскочил, она тоже поднялась, обхватила его руку повыше локтя и щекой сиротливо прижалась к ней. Другой рукой он погладил ее волосы, но, почувствовав, что Джулия внутренне напряглась, торопливо опустил руку.

Так они не спеша пошли к краю луга.

19

Ручей был неглубокий, но очень бурный — широкий поток ледяной воды бешено мчался по камням, взбивая желтую пену и бросая ее на влажный каменистый берег. На одном из поворотов он намыл в траве широкую полосу гальки, перейдя которую Иван и Джулия вдоволь напились из пригоршней, и девушка отошла к берегу. Иван же закатал разорванные собакой штаны и забрался глубже в воду. Ступни заломило от стужи, стремительное течение могло сбить с ног, но ему захотелось умыться, так как пот разъедал лицо. Он потер колючие, заросшие щеки, намереваясь увидеть свое отражение в воде, но бурное течение не давало этого сделать. «Видно, зарос, как бродяга», — с неожиданным беспокойством подумал он и оглянулся на Джулию.

— Я страшный небритый? — спросил он девушку. Но та не отозвалась — неподвижно сидела в

задумчивости, глядя в одну точку на берегу. — Говорю, я страшный? Как старик, наверно?

Она встрепелулась, вслушалась, стараясь понять вопрос, и, увидев, что он теребит свои заросшие щеки, вдруг догадалась:

— Карашо, Иван. Очен вундершон.

Иван умывался и думал, что с ней что-то случилось — девушка явно чем-то встревожена, что-то переживает, такой сосредоточенной она не была даже под носом у немцев. Вовсе не в ее характере была такая задумчивость, — значит, какую-то боль причинил ей он, Иван. Но он, наоборот, избавился от всех своих прежних тревог и на этом луговом раздолье просто отдыхал душой. Ему было хорошо с ней, хотелось рассеять ее тревогу, увидеть Джулию прежней — искренней, веселой, доверчивой. Должно быть, надо было приласкать ее, успокоить, только Иван не мог перешагнуть какую-то грань между ними, хоть и желал этого. Что-то застенчиво-мальчишеское стремилось в нем к девушке, но он сдерживал себя, колебался, медлил.

Умывшись, он набрал в пригоршни воды и издали брызнул ею на Джулию — девушка вздрогнула, недоуменно взглянула на него и усмехнулась. Он тоже улыбался — непривычно, во все широкое, обросшее бородкой лицо.

— Испугалась?

— Нон.

— А чего задумалась?

— Так.

— Что это — так?

— Так, — покорно сказала она. — Иван так, Джулия так.

Несмотря на какую-то тяжесть в душе, она охотно отзывалась на его шутки и, щуря глаза, с улыбкой смотрела, как он, оставляя на гальке следы от мокрых ног, размашистой походкой выхлудил на траву.

— Быстро ты наловчилась по-нашему, — сказал он, припоминая недавний их разговор. — Способная, видно, была в школе?

— О, я была вундэркинд, — шутливо сказала она и вдруг, всплеснув ладонями, ойкнула: — Санта мадонна — ильсангвэ!

— Что?

— Кровь! Кровь! Ильсангвэ!

Он нагнулся, — по мокрой ноге от колена ползла узкая струйка крови — это открылась рана. Ничего страшного: до сих пор он не нашел времени осмотреть ее, но теперь, сев возле девушки, закатал штанину выше, нога над коленом была сильно расцарапана собакой и, намокнув в воде, закровоточила. Джулия испуганно наклонилась к нему и, будто это была бог знает какая рана, захохла:

— О, Иванио! Иванио! Очен болно! О, мадонна! Где получаль такой боль?

— Да это собака, — смеясь, сказал Иван. — Пока я ее душил, она и царапнула.

— Санта мадонна! Собака!

Ловкими, подвижными пальцами она начала ощупывать его ногу, стирать свежие и уже засохшие подтеки крови. Он откинулся на локтях, ощущая ласковость ее прикосновений; на душе у него было хорошо и спокойно. Правда, рана кровоточила, края ее разошлись, и хотя было не

очень больно, ногу полагалось перевязать. Джулия приподнялась на коленях и приказала ему:

— Гляди нах гора. Нах гора...

Он понял, что надо было отвернуться, и послушно выполнил ее просьбу. Она тотчас же что-то разорвала на себе и, когда он снова повернул к ней голову, держала в руках чистый белый лоскут.

— Медикаменто надо. Медикаменто, — сказала она, собираясь начать перевязку.

— Какой там медикамент? Заживет, как на собаке.

— Нон. Такой боль очен плёхо.

— Не боль, рана. По-русски это — рана.

— Рана, рана. Плёхо рана.

Он оглянулся и, увидев неподалеку серую бахрому похожей на подорожник травы, оторвал от нее несколько мелких листочков.

— Вот и медикамент. Мать всегда им лечила.

— Это? Это плантаго майор. Нон медикаменто, — сказала она и взяла из его рук листики. Он сразу же выхватил их обратно.

— Ну что ты! Это же подорожник. Знаешь, как раны заживляет?

— Нон порожник. Это плантаго майор по-латини.

— А ты и латынь знаешь?

Она шевельнула бровями.

— Джулия мнёго, мнёго знай латини. Джулия изучаль ботаник.

Он тоже когда-то знакомился с ботаникой, но уже ничего не помнил и теперь, больше полагаясь на народный обычай, приложил листки подорожника к распухшей ране. Девушка протестующе по-

качала головой, но все же начала бинтовать ногу. Впервые Иван почувствовал ее превосходство над собой, — бесспорно, образование у Джулии было куда выше, чем у него, и это усиливало его уважение к ней. Однако Ивана не очень беспокоила рана, его больше интересовали цветы, названия которых были ему незнакомы. Потянувшись рукой в сторону, он сорвал стебелек, похожий на обычную луговую ромашку.

— А это как называется?

Проворно бинтуя лоскутом ногу, она бросила быстрый взгляд на цветок:

— Пиретрум розеум.

— Ну, совсем не по-нашему! А по-нашему это ромашка.

Он сорвал другой — маленький синий цветочек, напоминавший отцветший василек.

— А это?

— Это?.. Это примула аурикулата.

— А это?

— Гентиана пиренеика, — сказала она, взяв из его рук два небольших синеньких колокольчика на жестком стебельке.

— Все знаешь. Молодчина. Только вот по-латыни...

Джулия кое-как перевязала рану — сверху на повязке проступило коричневое пятно.

— Лежи надо. Тихо надо, — потребовала она.

Он с какой-то небрежной снисходительностью к ее заботам подчинился, вытянул ногу и лег на бок, лицом к девушке. Она поджала под себя колени и положила руку на его горячую от солнца голень.

— Кароши руссо, кароши, — говорила она, бережно поглаживая ногу.

— Хороший, говоришь, а не веришь. Власовцем обзывала! — вспомнив недавнюю размолвку, упрекнул Иван. Она вздохнула и рассудительно сказала:

— Нон влясовэц. Джулия вэриш Иванио. Иванио знат правда. Джулия нон понимает правда.

Иван пристально посмотрел в ее строгие опечаленные глаза.

— А что он тебе наговорил, тот власовец? Ты где его слушала?

— Лягер слушаль, — с готовностью ответила Джулия. — Влясовэц, говори: руссо кольхоз голяд, кольхоз плёхо.

Иван усмехнулся:

— Сам он подонок. Из кулаков, видно. Конечно, жили по-разному, не такой уж у нас и рай. Я, правда, не хотел тебе всего говорить, но...

— Говорит, Иван, правда! Говорит! — настойчиво попросила Джулия.

Он сорвал из-под руки ромашку и вздохнул:

— Вот. Были неурожаи. Правда, разные и колхозы были. И земля не везде одинаковая. У нас, например, одни камни. Да еще болота. Конечно, всему свой черед: добрались бы и до земли. Болот уже вон сколько осушили. Трактора в деревне появились. Машины разные. Помощь немалая мужику. И работать начали дружно в колхозе. Вот война только помешала...

Джулия придвинулась к нему ближе.

— Иван говори Сибирь. Джулия думаль: Иван шутиль.

— Нет, почему же. Была и Сибирь. Высылали кулаков, которые зажиточные, вроде бауэров. И врагов разных подобрали. У нас в Терешках тоже четверо оказалось.

— Враги? Почему враги?

— За буржуев стояли. Коров колхозных сапом — болезнь такая — хотели заразить.

— Ой, ой! Какой плёхой челёвек!

— Вот-вот. Правда, может, и не все. Но им по десять лет дали. Ни за что не дали бы. Так их тоже в Сибирь. На исправление.

— Правда?

— Ну, а как ты думала.

Лежа на боку, он сосредоточенно обрывал ромашку.

— Иван очен любит свой страна? — после короткого молчания спросила Джулия. — Белорусио? Сибирь? Свой кароши люди?

— Кого же мне еще любить? Люди, правда, разные и у нас: хорошие и плохие. Но, кажется, больше хороших. Вот когда отец умер, корова перестала доиться, трудно было. На картошке жили. Так то одна тетка в деревне принесет чего, то другая. Сосед Апанас дрова привозил зимой. Пока я подрос. Жалели вдову. Хорошие ведь люди. Но были и сволочи. Нашлись такие — в тридцать седьмом наговорили на учителя нашего Анатолия Евгеньевича — ну его и забрали. Честного человека. Умный такой был, хороший. Все с председателем колхоза ругался из-за непорядков. За народ болел. Ну и какой-то сукин сын донес, что он якобы против власти шел. Тоже десять лет получил. По ошибке, конечно,

— Почему нон защищаль честно учител?

— Защищали. Писали всей деревней. Только...

Иван не договорил. Невольные эти воспомина-
ния вызвали в нем невеселые раздумья, и он
лежал, кусая зубами оборванный стебелек ромашки.
Озабоченно-внимательная Джулия тихо гладила
его забинтованное горячее колено.

— Все было. Старое ломали, перестраивали —
не легко это далось. С кровью. И все же трудное
скорее забывается, помнится больше хорошее. Кажется,
ничего этого и не было. Жили не без трудностей,
может, чего-то и не хватало, зато — в мире.
А это главное. Я вот думаю: пусть бы опять все
воротилось, но чтоб без войны только. Все пережили бы.
Все бы одолели, справедливее стали бы...

— Руссо феномено. Парадоксо. Удивительно,—
горячо заговорила Джулия.

Иван, сплюнув стебелек, перебил ее:

— Что ж тут удивительного: борьба. Надо же
было такую мощь накопить, для обороны, для
армии.

— О, Армата Россо побеждаль! — восторженно
согласилась Джулия.

— Ну вот. Видишь, силу какую накопили.
А после войны, если эту силу на хозяйство пустить,
ого!..

— Джулия много слышаль Россия. Россия са-
мо большая сила. — Она помолчала и, будто что-то
припомнив, грустно улыбнулась. — Джулия за этот
мысли от фатэр, ла падре, отэц убегалъ. Рома отэц
делай вернисаж — юбилей фирма. Биль много гост,
биль офицер СД. Офицер биль Россия, офицер

говори: Россия плёхо, бедно, Россия нон культур. Джулия сказаль: это обман. Россия лючше Германи. Офицер сказаль: фройлен — коммунисти? Джулия сказаль: нон коммунисти — так правда. Ла падре ударяль Джулия, — она прикоснулась к щеке. — Пощечин это русски говорит. Джулия убегаль вернисаж, убегаль Марио Наполи. Марио биль коммунисти. Джулия всегда думаль: руссо — карашо. Лягер Иван бежалъ, Джулия Иванио бежалъ. Руссо Иван — герой.

— Ну какой я герой! — возразил Иван. — Солдат просто.

— Нон просто сольдат! Руссо сольдат — герой! Само смело! Само силно. Само... Само... — воодушевленно говорила она, подбирая знакомые русские слова. Во всем ее тоне чувствовалась глубокая вера в правоту идеи, которой она ни за что не хотела поступиться. — Мы видель ваш герой лягер. Ми слышаль ваш герой на Остфронт. Ми думаль: ваш фатерланд само сильно, само справядливо...

— Он и есть справедливый, — заметил Иван. — Я вот на тракториста выучился, и бесплатно... А учителей сколько стало. Из тех же мужиков.

Нахмуренные до сих пор брови ее шевельнулись, и в глазах впервые после размолвки сверкнули смешинки.

— Удивительно! Джулия любит руссо. Руссо неправильно, феноменално. Джулия всегда любит неправильно, феноменално. Иван феномено. Аномали. Руссо коммунисти Иван спасаль Русланд, спасаль буржуазно монархия Италияно, спасаль Джулия...

— Во-первых, я не коммунист: не дорос. А вторых, что тут такого: весь Советский Союз спасает и Италию, и Францию, и Грецию... Да мало ли кого. Хотя они и буржуазные. Ведь, кроме нас, кто бы Гитлера остановил?

— Си, си. Так...

С затаенной улыбкой на губах она погладила его ногу, потом голый бок. Иван смущенно поежился, ощущая непривычное прикосновение ее ласковых рук, как вдруг она, нагнувшись, коснулась губами его синего штыкового шрама на боку. Он вздрогнул, будто его пронизали в то же место второй раз, вскинул руку, чтоб защититься от ее неожиданной ласки, но она поймала эту руку, прижала ее к земле и в каком-то безудержном порыве стала целовать все его шрамы — осколочный в плече, другой, пулевой, — выше локтя, от штыка в боку, спустилась ниже и осторожно поцеловала повязку. Ошеломленный ее порывом, Иван напрягся, к сердцу прихлынула волна нежности, а она все целовала и целовала. И тогда какая-то грань между ними оказалась такой узкой, что балансировать на ней стало невозможно. Не зная, хорошо это или плохо, но уже отдавшись во власть какой-то неведомой, захлестнувшей его волне, он встрепенулся, приподнялся на локте, другой рукой обхватил ее через плечо, слегка прижал и, закрыв глаза, дотронулся до ее удивительно упругих, горячих губ.

Потом сразу же откинулся спиной на траву, разметал руки и засмеялся, не решаясь открыть прижмуренных глаз. А когда открыл их, в солнечном ореоле растрепанных волос увидел склонившееся над ним лицо Джулии, ее полукрытый

белозубый рот. В первую секунду она будто захлебнулась, кажется, хотела и не могла чего-то сказать, только широко раскрыла глаза — в них было удивление и рвущийся наружу восторг. Припав к его груди, она обхватила шею Ивана руками и зашептала ему в лицо, горячо и преданно:

— Иванио!.. Амика!..

20

Что-то недосказанное, второстепенное, что все время удерживало их на расстоянии, было преодолено, пережито счастливо и почти внезапно. Мучительные вопросы, которые до сих пор волновали Джулию, видимо, были ею отделены от главного и отодвинуты на задний план — с этого момента для обоих остались лишь пряный аромат земли, маковый дурман луга и знойный блеск высокого ясного неба. Среди дремучей первозданности гор, в одном шагу от смерти родилось неизведанное, таинственное и властное, оно жило, жаждало, пугало и звало...

Лежа на траве, Иван гладил и гладил ее узкую, нагретую солнцем спину, девушка, припав к его груди, терлась горячей щекой о его рассеченное исколком плечо. Губы ее не переставая шептали что-то непонятное, но Иван понимал все. Счастливо смеясь, он будто застыл в какой-то невесомости; небо вверху опьяняло, кружилось, земля, словно огромное кособокое блюдо, покачивалась, клонилась куда-то в сторону, готовая вот-вот опрокинуться, и оттого было сладко, боязно и хмельно.

249

Время, казалось ему, остановилось, исчезла опасность, у самого лица его жарко горели ее большие черные глаза. В них теперь не было ни озабоченности, ни страдания, ни озорства — ничего, кроме властного в своем молчании зова; что-то похожее Иван чувствовал на краю бездны, которая всегда пугала и влекла одновременно. У него не было сил противостоять этому зову, да он и не знал, нужно ли сдерживаться, он снова нащупал губами ее влажный рот, твердые зубы, привлек ее обеими руками и замер. Стало тихо-тихо, и в этой тишине величественно, как из небытия в вечность, лился, kloкотал горный поток. Хотелось раствориться, исчезнуть в этих ее трепетных объятиях, унести в вечность вместе с потоком, впитать из земли ее силу и самому преобразиться в земную мощь — щедрую, тихую, ласковую...

А земля все качалась, кружилось небо, сквозь полуоткрытые веки он близко-близко видел нежную округлость ее щеки, покрытую золотившимся на солнце пушком; горячей розовостью сияла освещенная сзади тонкая раковина уха. Невольно он потянулся к маленькой мочке с едва заметным следом от серьги, тихо нащупал ее зубами — Джулия упруго встрепенулась, вскрикнула, — он выпустил ухо и почувствовал под своими лопатками ее быстрые, тонкие руки.

По-видимому разбуженный ее жалобным вскриком, в нем так же растерянно отозвался незнакомый, чужой тут голос — он заколебался, запротестовал, он чего-то опасался. Однако Иван старался не слушать, заглушить в себе этот протест, он сейчас не хотел ничего знать, в его сознании бур-

лил, плескался, шумел горный ручей, во всю глубину гудела земля, трубным хором вторил ей настойчивый и властный порыв души...

И земля напоила его своими извечными соками, неумемной силой налилось тело, он бережно обхватил девушку, и земля с небом поменялись местами. Теперь уже ничто не имело значения — в его руках была она. Она — загадочная и неведомая, потонувшая в огненно-ярком сиянии маков, притихшая, маленькая, ослабевшая и такая властная — над землей, над собой, над ним...

Где-то совсем близко под ними, казалось в глубинных недрах земли, гудел, бурлил, рвался шальной поток, он звал, увлекал в свои непознанные дали. Джулия забилась в его руках, на широко раскрытых ее губах рождались и умирали слова — чужие, родные, такие понятные ему слова...

Но какое значение имели теперь слова!

И земные недра, и горы, и могучие гимны всех потоков земли, согласно притихнув, благословили великое таинство жизни...

.

Он проснулся, испугавшись того, что уснул и дал исчезнуть чему-то необыкновенно большому и радостному. Приподнял голову, сразу же увидел Джулию и улыбнулся оттого, что испуг его оказался напрасным — ничто не исчезло, не пропало, даже не приснилось, как показалось вначале.

Впервые за много лет явь была счастливее самого радостного сна.

Джулия лежала ничком, уронив голову на вытянутую в траве руку, и спала. Дыхание ее, однако, не было ровным, как у спящего человека,— порой она замирала, будто прислушиваясь к чему-то, прерывисто вздыхала во сне. Полураскрытые губы ее все время шевелились, обнажая острые зубы. Он подумал сначала, что она шепчет что-то, но слов не было, губы, видимо, только отражали ход ее сновидений и так же, как щеки и брови, слегка вздрагивали. Все эти сонные переживания ее были преисполнены нежности, — наверно, снилось ей что-то хорошее, и на губах время от времени проступала тихая, доверчивая улыбка.

Они долго пробыли на этом лугу, солнце сползло с небосклона и скрылось за потемневшими зубцами гор. Погруженный в густеющий мрак, бедно, почти неуютно выглядел торжественно сиявший днем луг. Даль густо обволакивалась туманом, белесая дымка подмыла далекие сизые хребты, без остатка затопила долину. Медвежий хребет уже потерял лесное подножие и, будто подтаявший, плавал в сером туманном море. Ярко сияли, отражая невидимое солнце, лишь самые высокие пики. Это был последний, прощальный свет необычного и неожиданного, как награда, сегодняшнего дня. Вдали на тусклом небосклоне уже зажглась и тихо горела одинокая печальная звездочка.

Он снова повернулся к Джулии, надо было подниматься и идти, но она сладко спала, такая беспомощная, обессиленная, что он просто не посмел нарушить этот сон. Он начал жадно всматриваться

в ее подвижное во сне лицо, будто впервые видел его. После всего, что произошло между ними, каждая ее улыбка во сне, каждая гримаска обретали свой особенный смысл, хотелось смотреть на нее долго, пристально, стараясь проникнуть в тайну дорогой человеческой души. Он обнаружил в ней неожиданное — чистое и радостное — и, кажется, чуть не захлебнулся от своего первого в жизни опьянения. Теперь, правда, хмель несколько убавился, зато ощущение счастья усилилось, и он, не двигаясь, как на непостижимую тайну, смотрел и смотрел на нее — маленькое человеческое чудо, так поздно и счастливо открытое им в жизни.

А она все спала, прикинувшись к широкой груди земли; слабо подрагивали ее тонкие ноздри, и маленькая божья коровка задумчиво ползла по ее рукаву. Поднявшись с полосатой складки на бугорок плеча, она расправила крылышки, чтобы взлететь, но не взлетела, поползла дальше. Иван осторожно сбросил козявку, бережным прикосновением поправил на шее девушки тесемку с крестиком. Она не проснулась, только слегка перевела дыхание, тогда он осторожно одернул на ее спине завернувшийся край куртки и улыбнулся. Кто бы мог подумать, что она за два дня станет для него тем, чем не стала ни одна из его соотечественниц, — пленит его душу в такое, казалось бы, не подходящее для этого время? Разве мог он предвидеть, что во время четвертого побега, спасаясь от гибели, так неожиданно встретит первую свою любовь? Как все запуталось, переплелось на этом свете! Неизвестно только, кто перемешал все это — люди или бог, иначе как бы случилось такое — в

плону, в двух шагах от смерти, с чужой, незнакомой девушкой, человеком другого мира, человеком, который так неожиданно оказался самым значительным и дорогим из всего, что когда-нибудь встречалось на его пути.

И все же надо было идти дальше. Не время отлеживаться, пора будить Джулию, подумал он, но и сам прилег рядом с ней, сбоку, осторожно, чтоб не нарушить ее сна. Охваченный нежностью к девушке, он отвел от ее головы низко нависшие стебли мака, смахнул белого порхающего мотылька, намеревавшегося сесть на ее волосы. Пускай еще немного поспит, думал Иван, пристраиваясь поудобнее. Еще немного — и надо будет идти. Идти вниз, в долину...

Над затуманенной громадой гор в спокойном вечернем небе тихо догорал широкий Медвежий хребет. По крутым его склонам все выше ползла сизая тень ночи, и все меньше становилось розового блеска на зубцах-вершинах. Вскоре они и вовсе погасли, хребет сразу поник и осел; серыми сумерками окутались горы, и на светлом еще небе прорезались первые звезды. Однако Иван уже не видел их — он уснул с последней мыслью: надо вставать.

Разбудила его уже Джулия. Наверное, от холода она ворочалась, плотнее прижимаясь к нему; сонный Иван сразу почувствовал ее и проснулся. Она обхватила его рукой и горячо зашептала на ухо незнакомые, чужие, но теперь очень понятные ему слова. Он обнял ее, и снова сомкнулись их губы...

Было уже совсем темно. Похолодало. Черными

в полнеба горбами высились ближние горы, вверху ярко горели редкие звезды; ветер стих совсем — даже не шелестели маки, только, не умолкая, ровно шумел, клокотал рядом поток. Все травы этого луга ночью запахи так сильно, что их аромат хмелем наполнял кровь. Земля, горы и небо дремали во тьме, а Иван, приподнявшись, склонился над девушкой и долго смотрел ей в лицо, какое-то другое теперь, не такое, как днем, — затаившееся, будто ночь, и будто чуть настояженное. В больших ее глазах мерцали темные зрачки, и в их глубине блестело несколько звезд. По ее лицу блуждали неясные ночные тени, руки и ночью не теряли своей трепетной нежности и все гладили, ласкали его плечи, шею, затылок.

— Джулия! — тихо позвал он, прижимая ее к себе.

Она покорно отозвалась — тихо, с лаской и преданностью:

— Иванио!

— Ты не сердись на меня?

— Нон, Иванио.

— А если я оставлю тебя?

— Нон, амика. Иван нон оставить. Иван — руссо. Кароши, мили руссо.

Торопливо и упруго, с неожиданной для нее силой она прижала его к себе и тихо засмеялась.

— Иван — марито! Нон синьор Дзангарини, нон Марио. Руссо Иван — марито.

Он удовлетворенно, даже с затаенной гордостью в душе спросил:

— А ты рада? Не пожалеешь, что Иван — марито?

Она вскинула пушистые ресницы, затененные его склоненной головой, и звезды в ее зрачках, дрогнув, запрыгали.

— Иван — кароши, кароши марито. Мы будет маленьки-маленьки филиё... Как это руссо, скажи?

— Ребенок?

— Нон ребьёнок. Как это — маленько руссо?..

— А, сын, — слегка удивленный, догадался он.

— Да, син! Это карашо. Такой маленько-маленько, короши син. Он будет Иван, да?

— Иван? Ну, можно и Иван, — согласился он и, взглянув поверх нее на черный массив хребта, вздохнул. Она притихла, о чем-то думая; оба на минуту умолкли, каждый погрузился в свои мысли. А вокруг тихо лежали горы, скупно поблескивали редкие звезды, черной непроглядной пеленой покрылся маковый луг. Было тихо-тихо, только мерно бурлил поток, но он не нарушал тишины, и Ивану казалось, что во всем мире их только трое — они и поток. Последние слова ее, однако, согнали с его лица улыбку, исчезла шутливая легкость, он наткнулся на что-то трудное и серьезное в себе, впервые обнаружив еще одно осложнение в их и без того не простых отношениях. А Джулия, наоборот, что-то осмыслив, снова радостно встрепнулась и сжала его в объятиях.

— Иванио! Иванию, карашо! Как это карашо — филиё! Син! Маленький син!

Потом разняла руки, повернулась лицом вниз — звезды в ее зрачках исчезли, и лицо тускло засерело светлым пятном, на котором в глубоких тенях чуть заметно мерцали глаза. Короткое возбуждение ее внезапно сменилось тревогой.

— Иванио, а где ми будет жить? — Она немного подумала. — Нон Рома. Рома отэц уф бёзе! Триесте?..

— Что наперед загадывать!.. — сказал он.

— О! — вдруг тихо воскликнула она. — Джулия знат. Мы будет жить Белоруссио. Дэрэвня Тэрешки, близко-близко два озера... Правда?

— Может быть, что ж...

Вдруг она что-то вспомнила и насторожилась:

— Тэрэшки кольхоз?

— Колхоз, Джулия. А что?

— Иванио, плёхо кольхоз?

— Хорошо! Почему плохо?

Большой своей пятерней он взъерошил ее жесткие густые волосы, она, уклоняясь, высвободила голову и пригладила ее.

— Джулия растет большой кароши волёс. Большой волёс красиво, да?

— Да, — согласился он. — Красиво.

Она помолчала немного и потом, возвращаясь к прежнему разговору, сказала:

— Иванио будет ла вораре фэрма, плантация. Джулия будет... Как это? Виртин вилла¹ Ми делаем много-много маки. Как этот люг!

— Да, да, — задумчиво соглашался Иван. У него очень заломило ногу, надо было поправить повязку, но он не хотел лишний раз беспокоить девушку. Он лишь выпрямил и свободнее положил ногу в траве, рассеянно слушая Джулию, которая все говорила и говорила рядом.

— Ми будет много-много фортуна. Я очен хочу

¹ Хозяйка виллы (итал.).

фортуна. Должен бить человек fortuna... правда, Иваню?

— Да, да...

Однако Джулию одолевал сон, голос ее становился все тише, мысли путались, и вскоре девушка умолкла. Он тихонько погладил ее плечо, подумал: надо дать ей отдохнуть, выспаться, все равно, сколько уж осталось той ночи — первой и, пожалуй, последней ночи их счастья. А завтра идти. Только кто знает, что уготовило им это завтра?

Он долго смотрел на небо — один на один со вселенной, с сотней звезд, больших и едва заметных, с серебристой тропой Млечного Пути через все небо, — и тревожное беспокойство все больше заглушало в его душе ощущение счастья.

За годы войны он совсем отвык от такой естественной человеческой потребности, какой является счастье. Где уж там было добиваться счастья, если все силы расходовались на то, чтобы как-нибудь выжить, не дать уничтожить себя. Конечно, придет время, человечество уничтожит фашизм, люди испытают великую радость братства, свободную, без границ и запретов любовь, только вряд ли суждено этого дожидаться им с Джулией. Милая, сердечная девушка, как высоко залетела она в мечтах, совсем не представляя, что уготовано им на пути в Триест. Вырвавшись из лагеря и познав любовь в этом удивительном мире цветов, она решила, что все страшное уже позади. О, если бы это было так! Но стоит немного подумать, и станет понятно, сколько еще испытаний впереди: оживленные автострады в долине, бурные горные реки, населенные пункты. А заставы, собаки... И вдобавок ко всему

огромный, недоступный снежный хребет! Как перейти его им, раздетым, разутым, голодным?

Одно лишь то, что ожидало их в ближайшие дни, могло заставить задуматься каждого, будь он на их месте. А потом? Что их ждало потом, в случае, если бы тут все удалось, о том даже не хотелось и думать. Нет, не вовремя сошлись они на этой тропинке и полюбили друг друга.

И почему? Почему человек не имеет даже маленькой надежды на счастье, ради которого рождается на этот свет и к которому всю жизнь стремится? Почему бы и в самом деле не приехать ей в тихие его Терешки у двух голубых озер, если она хочет этого, если он любит ее, как, очевидно, не способен полюбить ни одну девушку в мире? И он понимал — она была бы лучшей в мире женой.

А как чудесно было бы привезти эту черноглазую хохотушку в его деревню! Разве не полюбили бы ее деревенские люди и разве она осталась бы в долгу перед ними? Что из того, что они малограмотные и, может, даже не очень культурные — зато чистосердечные, добрые, участливые в беде и щедрые в радости, — почему бы не полюбить таких?

Он не мог представить себе разлуку с ней. Только с ней, пока он будет жив, а там черт его бери, хоть бы и смерть. Смерти он не боялся, мог бороться за себя, тем более теперь, когда надо бороться за жизнь двоих. Пусть попробуют взять ее от него! А она безмятежно спала на боку, поджав к животу колени. Он встал, осмотрелся и опять сел рядом с ней, хмурый и злой, наверно оттого, что очень хотелось есть, а главное — болела нога. Голень, кажется, распухла, сильно давила повяз-

ка, Иван немного ослабил ее, ощупал — нога пылала жаром, его начала пробирать дрожь. Пришлось взять из травы ненавистную полосатую куртку и закутаться, но теперь и она грела слабо. Через минуту, прислушиваясь к себе, Иван подумал: «Не хватало еще заболеть — что тогда будет? Нет, так нельзя! — подбадривал он себя. — Держись! Во что бы то ни стало держись!»

Но что-то уже изменилось в нем самом. Иван чувствовал это, и тревога, как вода в дырявую лодку, все больше просачивалась в его сознание. Хорошо, что Джулия ничего не подозревала и сладко спала в маках. Он тоже сел рядом, босые ноги засунул под полу тужурки, которой прикрыл ее, и стал всматриваться в ночь. Вскоре его начало клонить ко сну, одолевала усталость. Но рядом доверчиво спала она, и Иван должен был сидеть так, оберегая ее сон.

Уже на рассвете он не выдержал и незаметно задремал, уткнувшись лицом в колени.

22

Притихшая, пока он спал, тревога внезапным толчком ударила в сердце. Иван сразу проснулся и в то же мгновение услышал близкий непонятный крик:

— Во бист ду, руссэ? Зи гебен дир брот! Зи гебен филь брот¹.

¹ Где ты, русский? Они дадут тебе хлеба! У них много хлеба (нем.).

Постепенно светлело, хотя солнце еще не взошло; вокруг было неуютно и серо. На луг напоззло облако, и гор не было видно. Косматые пряди тумана, цепляясь за поникшие росистые маки, ползли и ползли вдоль склона. Иван сорвал тужурку с ног Джулии, она вскочила, испуганно заговорила о чем-то, а он, стоя на коленях, пристально всматривался в ту сторону, откуда доносился крик. Вскоре Иван догадался, что это — сумасшедший, но сразу же показалось: он не один, с ним люди. И действительно, не успел он в тумане что-либо увидеть, как послышался злобный приглушенный окрик:

— Хельтс мауль!¹ — и обычная немецкая брань.

Джулия поняла все и бросилась к Ивану. Вцепившись в рукав его куртки, она жадно всматривалась вниз, в серый туман, в котором, ей показалось, мелькнули живые тени. Но Иван схватил ее за руку и, пригнувшись, бросился к ручью. В другой его руке была тужурка, колодки же остались в маках.

Молча они побежали вдоль ручья вверх.

Иван не выпускал из своей руки пальцев Джулии; девушка, растерянно оглядываясь, едва поспевала за ним. Он старался найти подходящее место, чтобы перебраться на ту сторону — там можно было укрыться в скалах и густых зарослях рододендрона. Но поток бешено мчался с гор, бросаться в его быстрину было самоубийством.

¹ Заткнись!

«Хорошо, что облако! Хорошо, что облако!» — стучала в его голове утешительная мысль. Стремительные клочья тумана пока укрывали их. «Проклятый сумасшедший, почему я не убил его? Все они, сволочи, одного поля ягода!» — в отчаянии думал Иван и безжалостно волок вверх Джулию. Они уже миновали поворот потока, взобрались на обрывистый здесь берег, дальше было открытое место. Поток со страшною силой несся по камням, от намерения перейти на ту сторону, очевидно, надо было отказаться. Прежде чем выскочить на луговой росистый простор, Иван, тяжело дыша, упал на колени, обернулся — туман заметно редел, уже стали видны дальние камни в маках, голое пятно взлобка, где он вчера дожидался Джулию. И тут в тумане показалось несколько гитлеровцев — неширокой цепью рассыпавшись по лугу, они приближались к тому месту, где Иван с Джулией провели ночь.

Иван взглянул на Джулию — ее полусонное лицо отражало испуг и крайнюю усталость. «Хоть бы выдержала! Хоть бы она выдержала!» — страстно пожелал Иван. Теперь только ноги могли принести спасение, и, слегка отдышавшись, он снова схватил ее за руку. Она бежала с огромным напряжением, но не отставала от него.

Задыхаясь от бега, они выбрались на верхний участок луга, ноги по колени намочили от росы. Однако с каждой минутой Иван все сильнее прихрамывал на правую ногу, которая странно отяжелела, будто стала чужой, — сначала он так и подумал, что, задремав, отсидел ее. Но неподатливая вялость в ней не проходила, в сухожилиях

под коленом болело, оно распухло. Джулия вскоре заметила его хромоту и испуганно дернула Ивана за руку.

— Иванио, нога?

Он проволоч ногу по траве, стараясь ступать как можно осторожнее, но ему это плохо удавалось. Тогда Джулия, оглянувшись, бросилась перед ним на колени и вцепилась в штанину, намереваясь осмотреть рану.

— Надо вязать, да? Я немножко вязать, да?

Он решительно отвел ее руки.

— Ничего не надо. Давай быстрее.

— Болно, да? Болно? — спрашивала она с тревогой в больших глазах, заботливо всматриваясь в него. От усталости под ее полосатой курткой бешено билось сердце, высоко поднятые жесткие брови нервно подрагивали.

— Ничего, ничего...

Превозмогая боль, он торопливо заковылял дальше, рука Джулии выскользнула из его пальцев, и он не взял ее — девушка, поминутно оглядываясь, бежала следом.

— Иванио, амика, ми будет жит? Скажи, будет? — в отчаянии, от которого разрывалось сердце, спрашивала она.

Иван взглянул на нее, не зная, что ответить, и увидел в ее взгляде столько мольбы и надежды, что поспешил утешить:

— Будем, конечно. Быстрее только...

— Иванио, я бистро. Я бистро. Я карашо...

— Хорошо, хорошо...

Они уже добежали до верхней границы луга, тут, где-то в камнях, начиналась тропинка, по ко-

торой они проникли сюда ночью; в скалах, пожалуй, можно было бы укрыться. Но облако уже сползло с луга, стало светлее, туман на глазах редел, в разрывах его отчетливо видны были красивые заросли маков, камни; эти разрывы все увеличивались. «Черт, неужели не вырвемся? Неужели увидят? Нет, этого не должно быть!»— успокаивал себя Иван и поднимался все выше и выше. Имея уже некоторый опыт побегов, он понимал всю сложность такого положения и знал, что если немцы обнаружат их, то вряд ли упустят.

Тропы, однако, все не было, и они взбирались по травянистому косоугору. Хорошо еще, что подъем был не очень крутой, мешали только низкорослые заросли рододендрона, которые сильно искололи им ноги. Правда, чуть выше начинался густой хвойный стланик, в нем уже можно было укрыться. Джулия не отставала, напрасно он беспокоился об этом. Босая, с окровавленными ступнями, она пробиралась чуть впереди него, и, когда оглядывалась, он видел на ее лице такую решимость избежать беды, которой не замечал за все время их пути из лагеря. Теперь ей будто не мешали ни камни, ни усталость, ни колючки, ни скальные выступы,— будто тигрица, она яростно боролась за жизнь.

— Иваню! Скорая, скорая...

Она уже торопит его! Заметив это, Иван сжал зубы,— кажется, его дела становились все хуже. Нога еще больше наливалась тяжестью, распухла в колене, он украдкой поднял разорванную штанину и сразу же опустил — колено сделалось как бревно, раздулось и посинело. «Что за напасть — неужто заражение?»

А тут, как на беду, последние клочья облака проплыли мимо и полностью открыли взору край луга, ярко зардевший маками. И сразу из тумана появились одна, вторая, третья темные, как камни, фигуры немцев. Человек восемь их устало шли лугом, подминая цветы и настороженно оглядывая склоны гор.

Теперь уже можно было не скрываться...

Иван сел, бросив тужурку, рядом остановилась поникая, растерянная Джулия, — несколько секунд от усталости они не могли вымолвить слова и молча смотрели на своих преследователей. А те вдруг загалдели, кто-то, вскинув руку, указал на них, донесся зычный голос команды. Посреди цепи тащился человек в полосатом, руки его, кажется, были связаны за спиной, и двое конвоиров, когда он остановился, толкнули его в спину. Это был сумасшедший.

Немцы сразу засуетились и с гиканьем кинулись вверх.

— Ну что ж, — сказал Иван. — Ты только не бойся. Не бойся. Пусть идут!

Чтобы не мешала тужурка, он надел ее в рукава и достал из кармана пистолет. Джулия застыла в унылом молчании, брови ее сомкнулись, на лицо легла тень упрямой решимости. Он взглянул на девушку, но страха в ее глазах не увидел, она уже отдышалась, и от недавней тревоги в темных больших глазах осталась лишь печаль обреченности.

— Пошли! Пусть бегут — запарятся!

— Шиссен будет? — удивленно спросила Джулия, будто только теперь поняв, что им угрожает.

— Стрелять далеко. Пусть стреляют, если патронов много.

Действительно, немцы пока не стреляли, они только кричали свое «хальт!», но беглецы торопливо поднимались выше, к зарослям стланика. Оправившись от первого испуга, Джулия опять стала подвижной, быстрой, внимательной и, казалось, готовой ко всему.

— Пусть шиссен! Я не боялся. Пусть шиссен! — говорила девушка.

Непрестанно оглядываясь, она подбежала к Ивану и взяла его за руку. Он благодарно пожал ее холодные пальчики и не выпустил их.

— Иванио, ээсман шиссен — ми шиссен! Ми нон лягер, да? Да?

Он озабоченно шевельнул бровью, взглянул на нее.

— Конечно. Ты только не бойся.

— Я не бойся. Руссо Иван не бойся — Джулия не бойся.

Он не боялся. Слишком много пережил он за годы войны, чтобы и теперь бояться. Как только немцы обнаружили их, он почувствовал странное облегчение и внутренне подобрался: в хитрости уже отпала надобность, теперь только бы дал бог силы. И еще, конечно, чтобы рядом оставалась Джулия. С этого момента начинался поединок в ловкости, меткости, быстроте — надо было уходить и беречь силы, не подпустить немцев на выстрел, пробиваться к облакам, с ночи неподвижно лежащим на вершинах гор, и там оторваться от преследователей. Иного выхода у них не было.

Наконец они добрались до стланика, но прятаться в нем не стали — в укрытии уже не было надобности. Осыпая ногами песок и щебень, хватаясь руками за колючие ветви, Джулия первой влезла на край крутой осыпи и остановилась — Иван, с усилием занося больную ногу, карабкался следом. На самом крутом месте, у верха обрыва, он просто не знал, как ступить, чтоб выбраться из-под кручи: так болела нога. Тогда девушка, став на колени, протянула ему свою тоненькую, слабую руку. Он взглянул на синие прожилки вен на ее запястье и сделал еще одну попытку вылезти самому — разве она смогла бы вытащить его? Но Джулия что-то затараторила на странной смеси итальянских, немецких и русских слов, настойчиво подхватила его под руку, поддержала, и он в конце концов взвалил на край обрыва свое отяжелевшее тело.

— Скоро, Иваню, скоро! Эсэс! — со страхом повторяла она.

Действительно, немцы догоняли их, самые проворные уже перешли луг и карабкались по крутизне; остальные старались не отставать. Последним со связанными за спиной руками, спотыкаясь, брел сумасшедший, которого подталкивал конвоир. Кто-то из передних, увидев беглецов возле стланика, закричал и выпустил очередь из автомата. Выстрелы протрещали по далеким ущельям. Иван оглянулся, — конечно, до немцев было далековато, а когда снова шагнул вперед, чуть не наткнулся на Джулию, лежащую на склоне.

— Ты что?

— Нон, нон! Нон эршиссен!— оглядываясь с радостным блеском в глазах, сказала она и вскочила. Лицо ее загорелось злым озорством. — Сволячи ээс! — звонким, негодующим голосом закричала она на немцев.— Ферфлюхтер! Швайн!

— „Ладно, брось ты! — сказал Иван. Надо было беречь силы, что пользы дразнить этих сволочей?

Но Джулия не хотела просто так умирать — злость и наболевшие обиды пересиливали всякое благоразумие.

— Гитлер капут! Гитлер кретино! Ну, шиссен!

Немцы выпустили еще несколько очередей, но беглецы были намного выше преследователей, и в таком положении (Иван это знал), согласно законам баллистики, попасть из автоматов было почти невозможно. Это почувствовала и Джулия — то, что вокруг не просвистело ни одной пули, вызвало у нее гневное ликование.

— Ну, шиссен! Шиссен, ну! Фашисто! Бриганти!¹

Она покраснелась от бега и азарта, глаза ее горели злым черным огнем, короткие густые волосы трепетали на ветру. Видимо, исчерпав весь запас бранных слов, она схватила из-под ног камень и, неумело размахнувшись, швырнула его, — подскакивая, он покатился далеко вниз.

От обрыва первым полез вверх Иван. Кое-как они карабкались вдоль стланика, подъем становился все круче. Черт бы их побрал, эти заросли, хорошо, если бы они были там, внизу, где еще можно было укрыться от погони, а теперь они

¹ Ну, стреляйте! Стреляйте, ну! Фашисты! Разбойники!

Только мешали, кололись, цеплялись за одежду. Лезть же через них напрямик было просто страшно — так густо переплелись жесткие, как проволока, смоляные ветки. То и дело бросая тревожный взгляд вверх, Иван искал более удобного пути, но ничего лучшего тут не было. Вверху их ждал новый, еще более сыпучий обрыв, и он понял, что влезть на него они не смогут...

Джулия, однако, не видела и не понимала этого; занятая перебранкой с немцами, она немного отстала и теперь торопливо догоняла его. Запыхавшись, он присел и вытянул на камнях большую ногу.

— Иванио, нóга? — испуганно крикнула она снизу. Он не ответил. — Нóга? Дай нóга!

Он молча встал и снова посмотрел вверх, на обрыв, она тоже взглянула туда, осмотрела сыпучую стену и насторожилась.

— Иванио!

— Ладно. Пошли.

— Иванио!

Ее лицо передернулось будто от боли, она оглянулась — немцы быстро лезли по их следам.

— Иванио, морто будэм! Нон Тэрэшки. Аллес нон?

— Давай быстрее! Быстрее! — не отвечая, строго прикрикнул Иван: иного выхода, как повернуть в стланик, у них не было. И он закусив губу, сунулся в непролазную его чащу, которой чурались даже звери. Тотчас колючие иглы сотнями впились в ноги, но он, не обращая на них внимания, оберегал только колено; от боли и напряжения на лбу выступил холодный пот. Не очень остерегаясь ко-

лючек и камней, он яростно полез через стланик в обход кручи.

— Ой, ой! Ой! — с отчаянием восклицала Джулия и лезла за ним, то и дело цепляясь за сучья и падая. Он не успокаивал ее и не торопил — он лишь посматривал на край обрыва, где вот-вот должны были показаться немцы.

Правда, на этот раз беглецам повезло, они добрались почти до верхней границы зарослей, когда внизу из-за кручи вылез первый эсэсовец. Теперь он уже был опасен, потому что разница в высоте между ними и немцами стала незначительной. Как только немец поднял голову, Иван торопливо прицелился из пистолета и выстрелил.

В горах прокатилось гулкое эхо.

Он, разумеется, не попал — было далеко, но немец из предосторожности шмыгнул под обрыв, и вслед за тем раздалась длинная автоматная очередь. Тр-р-р-р-т... — все дальше относя ее, удлиннили очередь горы. Когда эхо затихло, беглецы бросились дальше. Внезапный пистолетный выстрел испугал немцев, и на круче какое-то время никто не появлялся. Потом из-за обрыва показалась полосатая фигура — первой ее увидела Джулия.

— Иванио, гефтлинг!

Сумасшедший, широко расставляя ноги, влез на обрыв и, шатаясь, закричал своим отвратительным сорванным голосом:

— Руссэ! Руссэ! Хальт! Варум ду гэйт вэг! Зи волен брот гебен! ¹

¹ Русский! Русский! Стой! Почему ты убегаешь? Они хотят дать тебе хлеба!

— Цурюк! — крикнул Иван.

Сумасшедший испуганно пригнулся и попятился назад. Там на него — слышно было — закричали немцы, немного погодя они почти все сразу, сколько их было, высыпали из-за обрыва.

Положение ухудшалось. До седловины, где кончался стланик, было рукой подать, но тут немцы могли уже достать их из автоматов. Надо было во что бы то ни стало задержать эсэсовцев и прорываться за седловину. Иван опустился на колено, сунул ствол пистолета в шаткую развилку стланика и выстрелил второй раз, затем третий. Потом, пригнувшись, затаился в низкорослых зарослях. В это время к нему подоспела Джулия.

— Иваню, нон патрон аллес! Нон аллес! ¹

Он понял, прикоснулся к ее худенькому плечу, желая успокоить девушку — два патрона он оставит. Ждал выстрелов в ответ, но немцы молчали, широкой цепью они тоже полезли в стланик. Тогда он вскочил и, пригибаясь, чтоб хоть немного прикрыться, заковылял вверх, к седловине над кручей.

Наверно, немцы все же допустили ошибку, когда, глядя на беглецов, тоже подались в стланик. Эти заросли не только задерживали движение, они мешали видеть противника, прицелиться, и, пока эсэсовцы возились там, Иван с Джулией понемногу продвигались вверх. Ожидая выстрелов сзади, они наконец выскочили из стланика, задыхаясь, добежали до узенькой седловины и почти скатились по другой ее стороне. Отсюда Иван прежде всего окинул взглядом местность: с одной

¹ Иван, только не все патроны! Не все!

стороны, под низко нависшими облаками, поднимался такой же, как и сзади, крутой каменистый склон; прямо из-под ног уходил спуск в лощину, за которой начиналась новая невысокая горная складка. Там и сям над горами плыли белые, как овечьи стада, облака, а над ними сплошная завеса туч закрывала снежные вершины.

Едва они выбежали из седловины, Джулия, сложив на груди ладони, упала на колени, и губы ее быстро-быстро зашептали какие-то слова.

— Ты что? Быстрей! — крикнул он.

Она не ответила, прошептала еще несколько слов, и он, сильно хромя, побежал вниз. Она то-ропливо вскочила и быстро догнала его.

— Санта Мария поможет. Я просит очен, очен...

Он искренне удивился:

— Брось ты! Кто поможет!

Не зная, куда податься, и не в силах уже лезть вверх, они спустились наискосок по склону в лощину. Седловина с кручей пока еще прикрывала их от немцев. Бежать вниз было намного легче, тело, казалось, само неслоь вперед, только от усталости подгибались колени. Иван все же не мог совладать с ногой и сильно хромял. Джулия опережала его, но далеко не отбегала и часто оглядывалась. Очевидно, то, что они вырвались чуть не из-под самого носа немцев, вызвало у девушки неудержимый азарт. Задорно оглядываясь на Ивана, она лепетала с надеждой и радостью:

— Иванио, ми будет жит! Жит, Иванио! Я очен хотель жит! Браво, вита!¹

¹ Да здравствует жизни!

«Ой, рано, рано радоваться!» — думал Иван. Он на бегу оглянулся и тотчас увидел на седловине первого эсэсовца. Тот с трудом вылез из-за камней, высокий, в подтянутых бриджах, мундир на нем был расстегнут, и на груди белела рубашка. Нет, он не спешил стрелять, хотя они были и не очень далеко от него и намного ниже. С полминуты он смотрел на них, стоя на месте, а потом крикнул что-то остальным, наверно подходившим к нему сзади, и захохотал. Смеялся он долго, что-то кричал вдогонку беглецам. Потом, вместо того чтобы бежать за ними, сел на камни и снял с головы пилотку.

Джулия подскочила к Ивану и затормошила его:

— Иваню, Иваню, смотри? Он кароши тэдэско! Он пўстиль нас! Пўстиль... Смотри!

Иван не мог понять, почему они не стреляли и не преследовали, почему они оставили их и все остановились на седловине. Один из них отошел в сторону и, размахивая автоматом, закричал:

— Шнеллер! Шнеллер! Ляуф шнеллер!¹

— Иваню, тэдэски пускай нас! — на бегу с вдруг загоревшейся радостью лепетала Джулия. — Ми жит! Ми жит!

Иван молчал.

«Что за напасть? Что они надумали?» Все это действительно казалось ему странным. Но Иван был уверен, что это неспроста, что немцы не от доброты своей остановили погоню, что готовят они нечто худшее.

¹ Быстрее! Быстрее! Удирай быстрее!

Но что?

Иван с Джулией добежали до самого дна лощины, сквозь рододендрон продрались на другую ее сторону — невысокий, пологий склон-взлобок — и обессиленно поплелись наверх. Выветрившийся песчаник и колючки низкорослой травы вконец искололи их ноги, но теперь они не ощущали жесткости земли. Джулия то убегала вперед, то возвращалась, оглядываясь на немцев. Радость ее все возрастала по мере того, как они отходили от седловины. Однако унылый, обеспокоенный вид Ивана в конце концов не мог не обратить на себя ее внимания.

— Иванио, почему фурьёзо? Нѳга, да? — обеспокоенно спросила она.

— Не нога...

— Почему? Ми будет жит, Иванио. Ми убе-
галь...

Кажется, он уже догадался, в чем было дело. Не отвечая ей, Иван торопливо ковылял по взлобку, который дальше круто загибался вниз. Он скрывал их от немцев, это было хорошо, но... Они выходили из-за пригорка, и тут Джулия, наверное, также о чем-то догадавшись, вдруг остановилась. Горы впереди расступились, на пути беглецов необъятным простором засинел воздух — внизу лежало мрачное ущелье, из которого, клубясь, полз к небу туман.

С вдруг похолодевшими сердцами они молча добежали до обрыва и отшатнулись — склон круто падал в затуманенную бездну, в которой кое-где серели пятна нерастаявшего зимнего снега.

Джулия лежала на каменном карнизе в пяти шагах от обрыва и плакала. Он не успокаивал ее, не утешал — сидел рядом, опершись руками на замшелые камни, и думал, что, наверно, все уже кончилось. Впереди и сбоку к ним подступал обрыв, с другой стороны начинался крутой скалистый подъем под самые облака, сзади в седловине сидели немцы. Получалась самая отменная западня — надо же было угодить в такую! Для Джулии это было слишком внезапно и мучительно после вдруг вспыхнувшей надежды спастись, и он не успокаивал ее — не находил для этого слов.

Из пропасти несло промозглой сыростью, их разгоряченные тела начали быстро остывать; во круг в скалах, словно в гигантских трубах, выл, гудел ветер, было облачно и мрачно. Но почему немцы не идут, не стреляют, столпились вверху на седловине — одни сидят, другие стоят, обступив полосатую фигуру безумного? Иван всмотрелся и понял: они развлекались; раскуривая, тыкали в гефтлинга сигаретами — в лоб, в шею, в спину, и гефтлинг со связанными руками вьюном вертелся между ними, плевался, брыкался, а они ржали, обжигая его сигаретами.

— Руссе! Рэттэн! Руссе!¹ — летел оттуда истошный крик сумасшедшего.

Иван насторожился — сволочи, что они еще выдумали там? Почему они такие беспощадные и бесчеловечные и к своим и к чужим — ко всем?

¹ Русский! Спаси! Русский!

Неужели это только от душевной низости, ради забавы?

Похоже было, немцы чего-то ждали, только чего? Возможно, какой-либо подмоги? Но теперь ничто уже не страшно, теперь явная финита, как говорит Джулия, — четвертый его побег, видимо, станет последним. Жаль только вот это маленькое человеческое чудо — эту черноглазую говорунью, счастье с которой было таким хмельным и таким мимолетным. Хотя он и так был благодарен случаю, который послал ему девушку в самые последние и самые памятные часы его жизни. После всего, что случилось, как это ни странно, а умирать рядом с ней было все же легче, чем в ненасытной печи крематория.

Джулия, кажется, выплакалась, плечи ее перестали вздрагивать, только изредка подергивались от холода. Он снял с себя тужурку и, потянувшись к девушке, бережно укрыл ее. Джулия встрепенулась, пересилила себя, села и запачканными, в ссадинах кулачками начала вытирать заплаканные глаза.

— Плёхо, Иванио. Ой, ой плёхо!..

— Ничего, не бойся! Тут два патрона, — показал он на пистолет.

— Нон фортуна Джулия. Финита вита Джулия¹, — в отчаянии говорила она.

Он неподвижно сидел на земле, неотрывно следя за немцами, и все внутри у него разрывалось от горя и беспомощности. Перед собственной совестью он чувствовал себя ответственным за ее

¹ Конец жизни (*итал.*).

судьбу — только что он мог сделать? Если бы хоть немного доступнее был обрыв, а то проклятый, нависший над бездной карниз, за ним еще один, а дна так и не было видно в мрачном тумане, даже не прослушивался шум потока. Опять же нога, — разве можно удержаться на такой крутизне. И вот все это, собравшись одно к одному, определило их неизбежный конец.

— Руссе! Рэттэн! Рэттэн! Руссе! — слабо доносился с седловины голос безумного.

Джулия, увидев на седловине немцев, привстала на колени и вскинула маленькие свои кулачки:

— Фашисто! Бриганти! Своляч! Немен зи унс! Ну! ¹

На седловине примолкли, затихли, и ветер вскоре донес оттуда приглушенный расстоянием голос:

— Эй, рус унд гуррин! Ми вас скоро убиваль!..

И вслед второй:

— Ком плен! Бросай холодна гора. Шпацирен горяча крематориум!..

Лицо Джулии снова загорелось яростной злостью.

— Ним! Ним! — махала она кулачками. — Ком ним унс! Ага, гебен зи ангст?! ²

Немцы выслушали долетевшие до них сквозь ветер слова, и один за другим начали выкрикивать непристойности. Джулия, злясь от невозможности ответить им в таком поединке, только кусала губы. Тогда Иван взял ее за плечи и прижал к

¹ Берите нас! Ну! (нем.)

² Нате! Нате! Идите возьмите нас! Ага, бонтесь?! (нем.)

себе,— девушка послушно припала к его груди и в безысходном отчаянии, как дитя, заплакала.

— Ну не надо. Не надо. Ничего,— неловко успокаивал он, едва подавляя в себе приступ злобного отчаяния.

Джулия вскоре затихла, и он долго держал ее в своих объятиях, уныло думая, как здорово все началось и как нелепо кончается. Наверно, он абсолютный неудачник, самый несчастный из всех людей, если не смог воспользоваться такой благоприятной возможностью спастись.

Голодай, Янушка и другие сделали бы это куда лучше — добрались бы уже до Триеста и били бы фашистов в партизанах. А он вот завяз тут, в этих проклятых горах, да еще, как волка, дал загнать себя в западню. Видно, надо было, как и взялся, рвать ту бомбу — пусть бы бежали другие. А так вот... И еще — погубил Джулию, которая поверила в тебя, побежала за тобой, полюбила... Оправдал ты ее надежды, нечего сказать!

Он прижимал к груди ее заплаканное лицо, сквозь собственную боль ощущая трепет ее рук на своих плечах. Это вместе с отчаянием по-прежнему вызывало в нем невысказанную нежность к ней.

Потом Джулия села рядом, поправила рукой растрепанные ветром волосы.

— Мало, мало волёс. Нон большой волёс. Никогда!

От горя он только стиснул зубы. Рассудок его никак не мог примириться с неотвратимостью гибели, но что сделать? Что?

— Иваню, — вдруг оживившись, воскликнула она. — Давай манджиаре хляб. Ест хляб!

Она достала из кармана остатки хлеба и с неожиданно вспыхнувшей радостью в заплаканных глазах разломила его пополам.

— На, Иваню.

Он взял больший кусок и на этот раз не стал делить, уравнивать порции — теперь это не имело смысла. С наслаждением они проглотили хлеб — последний остаток своего запаса, который берегли до Медвежьего хребта. И тут Иван с новой остротой почувствовал неизбежность конца. Странно, но этот кусок вдруг показался последней надеждой выжить, — съев его, они тем самым как бы подытожили все свои жизненные заботы, и теперь осталось только одно — прожить недолгие минуты и умереть. Ивана снова охватила скорбь при мысли о напрасной трате стольких усилий и в такое время! Ребята на Востоке уже освободили родную землю, вышли за границы. Союза, идут сюда, и он уже не встретит их, хотя так рвался навстречу...

Джулия бросала полные отчаяния взгляды на мрачные ущелья, то и дело посматривала на тех, сверху, что не уходили, сидели, караулили их тут.

— Иваню! Где ест бог? Где ест мадонна? Где ест справядливость? Почему нон кара фашизм? — спрашивала она, в горе ломая тонкие смугловатые руки.

— Есть справедливость! — точно очнувшись, крикнул он. — Будет им кара! Будет!

— Где ест кара? Где? Энглиш? Американ? Совет Унион?

— Конечно! Советский Союз. Он свернет хребты этим сволочам.

— Совет Унион?

— Ну конечно.

Джулия с внезапной надеждой в глазах устремилась к нему:

— Он карашо? Люче, люче все?

Парень невидящим взглядом окинул ее:

— Что?

— Россия карашо? Справъядливо? Благородно? Иванио вчера говори правду, да?

И он вдруг будто в новом свете и совершенно другими, чем когда-либо прежде, глазами увидел и ее, и себя, и далекую свою родину — то, чем она была для него всю жизнь и чем могла быть.

— Да,— твердо сказал Иван.— Россия — самая лучшая, самая прекрасная страна, гордость всего мира. Лучше ее нет! А что еще будет! После войны! Когда раздавит Гитлера. Эх, если бы увидеть, хоть один день посмотреть!.. Один только день!..

В неудержимом порыве он сорвал с камня жесткие заросли мха, захлестнутый бурной волной глубокой, несгериимо жгучей любви к далекой своей отчизне, и больше ничего не мог сказать, чувствуя, что готов заплакать чего никогда с ним не случалось. Джулия, видно, поняла это и ласково прикоснулась к его колену.

— Я знат, — почти сквозь слезы, но со светлой улыбкой произнесла она. — Я знат. Я верит тебе. Я думаль, немножко Иван говорит неправда. Я ошибалься...

Она как-то сразу воспрянула, посветлела. Было холодно, из ущелья дул пронизывающий ветер, и она запахла полы тужурки. Только красные окровавленные ступни ее стыли на камне — при-

крыть их было нечем. Вдруг она о чем-то вспомнила и, повернувшись лицом к немцам, привстала на колени и просто, без всякого перехода запела:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Иван сперва удивился, — уж очень неуместной показалась ему песня на краю этой могилы, — но, увидев, как застыли на седловине немцы, тоже стал подпевать.

Видно, песня удивила немцев, они что-то закричали, но Иван не услышал этих выкриков, он проникся простенькой этой мелодией, которая внезапно вырвала их из состояния обреченности и унесла в иной, человеческий и несказанно светлый мир.

Немцы недолго удивлялись их дерзости — вскоре кто-то из них сорвал автомат и, не целясь, выпустил очередь, — на этот раз тут и там пули выскли на камнях стремительные дымки, которые сразу подхватил ветер. Иван дернул Джулию за полу тужурки, девушка неохотно пригнулась и спрятала голову за камень. «Стреляйте, сволочи, стреляйте! Пусть слышат! — подумал он, имея в виду лагерь, в котором всегда прислушивались к каждому выстрелу с гор. — Пусть знают: еще живы!»

Несколько минут они лежали за каменным барьером, пережидая, пока над ущельем громом отгрохочут очереди. Пули, однако, редко попадали сюда, немцы больше пугали, стараясь держать их в страхе и покорности. Потом автоматы умолкли.

Далеко раскатилось эхо, и не успело оно заглухнуть, как откуда-то со стороны луга прорвались сквозь ветер новые знакомые звуки. Вскинув голову, Джулия хотела что-то сказать, но Иван жестом остановил ее — они вслушивались, напряженно глядя друг на друга. Несмотря на то что рядом была Джулия, Иван зло выругался — за седловиной лаяли собаки.

Долго подавляемый гнев вдруг прорвался в Иване, он поднялся на широко расставленных ногах и встал во весь рост — разъяренный и страшный.

— Звери! — закричал он на немцев. — Звери! Сами боитесь — помощников ведете! Все равно нас вам не взять! Вот! Поняли?

Конечно, они легко могли застрелить его, но не стреляли — кажется, они старались понять, что прокричал им этот флюгпункт. От нервного возбуждения Иван весь трясся, его знобило; кажется, у него начинался жар. Он оглянулся — вверху немного прояснилось, в разрывах облаков стали видны блестящие от утренних лучей просветы голубизны. Казалось, вот-вот должен был выплыть из туч Медвежий хребет, до которого они не дошли. Очень хотелось увидеть его и солнце, но их все не было, и оттого стало невыносимо горько.

Иван опустился на землю — то, что вот-вот должно было произойти, уже не интересовало его, он знал все наперед. Он даже не оглянулся, когда собаки появились на седловине; овчарки шли все время по следу и были разъярены погоней. Джулия вдруг бросилась к Ивану, прижалась к нему и закрыла лицо руками,

— Нон собак! Нон собак! Иванио, эршиссен! Скоро!.. Эршиссен!

Гнев и первое потрясение, прорвавшиеся в нем, сразу исчезли, он снова стал спокойным. Убить себя было просто, куда страшнее поступить так же с Джулией, но он должен это сделать. Только так. Нельзя было позволить эсэсовцам взять их живыми и повесить в лагере — пусть волокут мертвых! Если уж не удалось вырваться на свободу, так надо досадить им хотя бы своей смертью.

В это время немцы пустили собак.

Одна, две, три, четыре, пять пегих, спущенных с поводков овчарок, распластавшись на бегу, устремились по склону; за ними выбегали немцы. Поняв, что эсэсманы вот-вот окажутся тут, Иван вскочил, схватил за руку Джулию, та бросилась ему на шею и захлебнулась в плаче. Он чувствовал, что надо что-то сказать, — самое главное, самое важное осталось у него в сердце, но слова почему-то исчезли, а собаки с визгом неслись уже по лощине. Тогда он оторвал ее от себя, толкнул к обрыву — на самый край пропасти. Девушка не сопротивлялась, лишь слабо всхлипывала, будто задыхаясь; глаза ее стали огромными, но слез в них не было — стыл только страх и подавляемый страхом крик.

На обрыве он кинул взгляд в глубину ущелья — оно по-прежнему было мрачным, сырым и холодным; тумана, однако, там стало меньше, и в пропасти забелели снежные пятна. Одно из них узким длинным языком поднималось вверх, и в сознании его вдруг сверкнула рискованная мысль-надежда. Боясь, что не успеет, он ничего так и не сказал

Джулии, а опустил уже поднятый было пистолет и толкнул девушку на самый край пропасти:

— Прыгай!

Джулия испуганно отшатнулась, он еще раз крикнул: «Прыгай на снег!», но она снова всем телом отпрянула назад и закрыла глаза руками.

Собаки тем временем выскочили на взлобок, Иван почувствовал это по их лаю, который громко раздался за самой спиной. Тогда он сунул в зубы пистолет и подскочил к девушке. С внезапной яростной силой он схватил ее за воротник и штаны и, как показалось самому, бешено, ногами вперед толкнул в пропасть. В последнее мгновение успел увидеть, как распластанное в воздухе тело ее пролетело над обрывом, но попало ли оно на снег, он уже не заметил. Он только понял, что самому с больной ногой прыгнуть не удастся.

Собаки бешено взвыли, увидев его тут, и Иван подался на два шага от обрыва. Впереди всех на него мчался широкогрудый поджарый волкодав с одним ухом — он перескочил через камни и взвился на дыбы уже совсем рядом. Иван не целился, но с неторопливым, почти нечеловеческим вниманием, на которое был еще способен, выстрелил в его раскрытую пасть и, не удержавшись, сразу же в следующего. Одноухий, с лёта, юзом пронесся мимо него в пропасть, а второй, на беду, был не один — с ним рядом бежало еще два, и Иван не успел увидеть, попал он или нет.

Его недоумение оборвал бешеный удар в грудь, нестерпимая боль пронизала горло, на миг мелькнуло в глазах хмурое небо, и все навсегда погасло...

Вместо эпилога

Здравствуйте, родные Ивана, здравствуйте, люди, знавшие Его, здравствуй, деревня Терешки у Двух Голубых Озер в Белоруссии.

Это пишет Джулия Новелли из Рима и просит вас не удивляться, что неизвестная вам синьора знает вашего земляка, знает Терешки у Двух Голубых Озер в Белоруссии и имеет возможность сегодня, после нескольких лет поисков, послать вам это письмо.

Конечно, вы не забыли то страшное время в мире — черную ночь человечества, когда с отчаянием в сердцах тысячами умирали люди. Одни, уходя из жизни, принимали смерть как благословенное освобождение от мук, уготованных им фашизмом, — это давало им силы достойно встретить финал и не погрешить перед своей совестью. Другие же в героическом единоборстве сами ставили смерть на колени, являя человечеству высокий образец мужества, и погибали, удивляя даже врагов, которые, побеждая, не чувствовали удовлетворения — столь относительной была их победа.

Таким человеком был и ваш соотечественник Иван Терешка, с которым воля провидения свела меня на трудных путях победной борьбы и огромных утрат. Мне пришлось разделить с Ним последние три дня Его жизни — три огромных, как вечность, дня побега, любви и невообразимого счастья. Богу не угодно было дать мне разделить с Ним и смерть — рок или обычный нарастающий сугроб снега на склоне горы не дали мне разбиться в пропасти, которую я предпочла крематорию. Потом

меня подобрала хорошие люди — отогрели и спасли. Конечно, это случилось позже, а в тот первый миг после моего падения в пропасть, когда я открыла глаза и поняла, что жива, Ивана в живых уже не было, — вверху под облаками утихал вой псов, и лишь эхо Его последних двух выстрелов, отдаваясь, грохотало в ущелье.

Постепенно я возвратилась к жизни. Она сначала казалась мне лишеной всякого смысла без Него, и долгие месяцы моего одиночества были полны лишь теми скорбными и счастливыми днями, прожитыми с Ним. Я бы могла описать вам, какой это был человек, но думаю, вы лучше меня знаете Его. Я хочу только сообщить, что вся моя последующая жизнь была неразрывно связана с Ним, так же как и моя скромная общественная деятельность в Союзе борьбы за мир, в издании профсоюзной газеты, наконец, в воспитании сына Джиованни, которому уже восемнадцать лет и который готовится стать журналистом. (Между прочим, это он перевел на русский язык мое письмо, хотя и я изучила ваш язык, но, конечно, не столь совершенно, как сын.) Еще в моей комнате висит карта Белоруссии — страны, так горячо любимой Иваном. Жаль, что у меня нет фото Ивана. Хоть бы какое-нибудь: детское, юношеское или еще лучше — солдатское...

Иногда, вспоминая Иванио, я содрогаюсь от мысли, что могла бы не встретиться с Ним, попасть в другой лагерь, не увидеть Его схватки с командофюрером, не побежать за Ним после страшного взрыва — пройти в жизни где-то мимо Него, не соприкоснуться с Ним. Но этого не слу-

чилось, и теперь я говорю спасибо провидению, спасибо всем испытаниям, выпавшим на мою долю, спасибо случаю, сведшему меня с Ним.

Вот и все. Финита.

С благодарностью ко всем — родившим, воспитавшим и знавшим Человека, истинно русского по доброте и достойного восхищения по своему мужеству. Не забывайте сына вашей великой Родины, как не забываем Его мы.

Спасибо, спасибо за все.

Уважающая вас

Джулия Новелли из Рима.

С о д е р ж а н и е

Фронтальная страница . . .	5
Альпийская баллада . . .	105

БЫКОВ
Василий
Владимирович

АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА

М., «Советский писатель»,
1964, 288 стр.

Редактор А. И. Чеснокова
Художники Е. Ф. Капустин
Ю. Ф. Алексеева
Худож. редактор К. М. Буров
Техн. редактор Н. Д. Бессонова
Корректор В. В. Сорокина

Сдано в набор 24/III 1964 г.
Подписано к печати 25/VII 1964 г.
А 08402. Бумага 70×108¹/₃₂.
Печ. л. 9(12,33). Уч.-изд. л. 10,48.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 240
Цена 41 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Московская типография № 20
Главполиграфпрома Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати
Москва, 1-й Рижский пер., 2
†

